

Л. Д. СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСКИЙ И ЕГО «ЗАПИСКИ»

Публикация З. Г. Минц и Э. Шубина

Вступительная статья З. Г. Минц

Автор публикуемых ниже записок, Леонид Дмитриевич Семенов-Тянь-Шанский, — яркая и довольно заметная в общественном и литературном движении нач. XX в. фигура. Интерес к личности и творчеству Л. Семенова современники проявляли, с одной стороны, в связи с «неонародническими» устремлениями символизма в период первой русской революции, с другой — в связи с практикой и проблематикой толстовства.

Отношение «младших символистов» к Семенову ярко выявляется на примере Ал. Блока. Первый период их отношений связан с годами учебы Блока и Семенова в СПб университете и с общностью символистского настроения творчества (1903—1905).¹ В это время Блок устойчиво относится к однокашнику и приятелю Л. Семенову как духовно близкому, «своему». В качестве «своего» Л. Семенов вызывает у Блока одновременно и грустно-иронические нарекания (упреки в индивидуализме, элитарной замкнутости: «Лампадка у каждого своя — и, увы! мы в этом еще глубоко, нескончаемо индивидуальны <...> Я говорю, например, про Семенова. Зачем он никогда не решится плакать при чужих?» — 8, 67),² и надежды на возможность возрождения («А может быть, и решится»; его «восковые черты» «надо оживить, растопить» — там же).

Близость к Л. Семенову наиболее ярко отразилась в блоковской рецензии на его «Собрание стихотворений» (лето <?> 1905). Утверждая, что «стихи Леонида Семенова покоятся на фундаменте мифа» (5, 589), Блок, по существу, сближает их с творчеством, самых значительных «младших символистов» (Вяч. Иванов, А. Белый), а также со своими «Стихами о Прекрасной Даме» — сближает генетически («вновь переживаемое язычество» — обращение к фольклору, к искусству античности, ренессанса), тематически («Весна и Смерть» — мифология умирающего и воскресающего божества) и жанрово. Характерно, что «Собрание стихотворений» Л. Семенова рассматривается Блоком как единый текст: миф о «мертвом царевиче» и грядущем воскрешении.³ Сопоставление этого «мифа

¹ В 1903—1904 гг. Блок упоминает о встречах, беседах, спорах, обмене книгами с Л. Семеновым (ср. записи от конца июля — нач. августа 1903 г. — ЗК, 52; от 16 ноября — ЗК, 55; от 2, 16 и 20 декабря 1903 г. — ЗК, 58 и 8, 78; от февраля — ЗК, 60. 19 марта — ЗК, 61 — 1904 г. и мая—июня 1905 г. — ЗК, 68. После этого записи о встречах резко обрываются); имя Семенова (1, 552 и 553) и его стихи (1, 552) вспоминает Блок и в своих посланиях и пародиях 1903 г.

² Письмо А. Белому от 13. XII. 1903.

³ Ср. такой же по методу анализ Блоком сборников Вяч. Иванова «Кормчие звезды» и «Прозрачность» (статья «Поэт и чернь»).

творчества» Л. Семенова, выделенного Блоком, с блоковской лирикой пред-революционных лет легко вычленил их отличия (большая/меньшая значимость образа Вечно-женственного) и сходства (надежда на «Весну» — воскрешение, обновление мира). Родство «мифов творчества» обоих поэтов подтверждается и более ранним (январь 1904 г.) стихотворением Блока, посвященным Л. Семенову, — «Жду я смерти близ денницы...». Его лирический герой, полностью идентифицируясь с образом лирического «я» в произведениях Блока этих лет, одновременно оказывается и «отходящим царем» лирики Л. Семенова (2, 35).

Годы первой революции — время и сближения, и расхождения поэтов. Л. Семенов, проделавший стремительную эволюцию от «белоподкладочничества» к социал-демократии, а затем — к толстовству, оказался в гуще революционных **событий** — блоковское участие в революции проявилось, главным образом, лишь во все более напряженном стремлении **понять** сущность происходящего. Л. Семенов в это время — одна из нитей, связывающих Блока с революцией.⁴ Однако встречи недавних приятелей теперь значительно более редки. Семенов становится для Блока все более непонятным и «чужим» — но одновременно «путь» Семенова приобретает в блоковских глазах все большую человеческую ценность.

Летом 1907 г. Л. Семенов упоминается Блоком в его нашедшей статье «О реалистах». Прошлое — символистское — творчество Семенова Блок противопоставляет недавно написанному Семеновым рассказу «Проклятье». Рассказ Л. Семенова «потрясает» — но лишь как жизненный документ, отличаясь «от сотни подобных же описаний правительственных зверств <...> более в чисто описательной части» (5, 114). Не ованный, по мнению Блока, дыханием высокого искусства, рассказ этот, как и творчество большинства «бытовиков», — свидетельство того, «что трудно «служить богу и маммоне», хранить верность жизни и искусству» (6, 114)⁵.

Но, констатируя трагический разрыв жизни и искусства, Блок 1907—1909 гг. вовсе не считает путь искусства более истинным. Напротив, именно этот «чужой» Семенов становится для Блока фигурой почти символической, а его жизнь — идеальным образцом пути интеллигента к народу. Блок и сам мечтает поехать «в Царицын на Волге — к Ионе Брихничеву. В Олонекскую губернию — к Ключеву <...> К сектантам — в Россию» (ЗК, 131) или заняться «переплетным делом» — опроститься (ЗК, 114). И хотя Блоку было суждено изживать эти планы не в жизни, а в творчестве (ср. «Песню Судьбы», где автобиографизм сюжета явно «подсвечен» судьбами А. М. Добролюбова и Л. Семенова), «сюжет жизни» Л. Семенова кажется Блоку все более высоко ценным⁶ (постепенно сливаясь в его сознании с судьбой Л. Толстого)⁷.

Разумеется, так обстояло дело вовсе не для всех символистов. Показательны, к примеру, зафиксированные в дневнике Ал. Блока от 23 декабря 1911 г. споры о Л. Семенове с Мережковскими и Философовым: последние утверждали, что этические поиски А. М. Добролюбова и Л. Д. Семенова приводят к «христианству «ночному», «реакционному», «соблазнительному», и обвиняли их в индивидуализме и «высшем аристократизме» (7, 105; см. также: 7, 107). Однако для всех «младших символистов», — и понимающих

⁴ См.: Ю. К. Герасимов. Об окружении Александра Блока во время Первой русской революции. — «Блоковский сборник» <I>, Тарту, 1964, сс. 541—543.

⁵ 31 января 1907 г. — в разгар своего увлечения Н. Н. Волоховой и «метельных» настроений «Снежной маски» и «Файны» — Блок просит у Ю. Верховского сборник стихотворений Л. Семенова (см.: 8, 179). Это была последняя встреча Блока со «старым» Семеновым.

⁶ Ср. записи бесед о Л. Семенове с Н. Ключевым (7, 71) и с А. Румановым (7, 115).

⁷ См.: З. Г. Минц. Ал. Блок и Лев Толстой. — Уч. зап. ТГУ. Вып. 119, Тарту, 1962.

«неонародничество» как слияние «я» с субстанцией народной жизни, и отвергающих «уход в народ»,⁸ — незатухающий интерес к судьбе Добролюбова и Семенова⁹ связывается с поисками выхода из «кризиса культуры».

Интерес к Семенову во второй половине 1900-х гг. характерен также для Л. Толстого¹⁰, а позже — для толстовцев. Л. Толстой высоко оценил не только идейный пафос Семенова-реалиста, но и его дарование «истинного художника», «чувство меры», «чувство художественного такта», поставив рассказ Семенова выше своей повести «Божеское и человеческое»¹¹.

Не вдаваясь детально в рассмотрение этого уже привлекавшего внимание исследователей вопроса¹², отметим некий особый смысл, который приобрел жизненный (и — отчасти — творческий) опыт Л. Семенова в глазах и самого Л. Толстого, и современников, интересовавшихся судьбами толстовского учения. Л. Семенов (как и А. Добролюбов) порой казался им более последовательным толстовцем, чем сам Толстой. Не случайно Л. Толстой постоянно говорит в письмах к Семенову не только о любви к нему («Я больше, чем желаю любить всякого человека, полюбил вас»)¹³, не только о радостном ощущении духовной близости («Очень люблю вас и не за вас, а за то, что позволяю себе думать, что мы с вами живем одним духом <...>, люблю вас особенной любовью сознания единения в боге, какою, к несчастью, могу любить только немногих»)¹⁴. Лейтмотив писем Толстого — сочетание радости от того, что Л. Семенов идет путем «истинной работы жизни», и горечи от постоянного сознания, что он, Толстой, сам этим путем идти не может: «Желаю вам тоже успеха в том, что я не сумел сделать, — в освобождении себя от тех преступных условий, в <отор>ых мы застали себя при пробуждении»¹⁵. Жизнь Семенова после его «ухода в народ» воспринималась как практическая реализация толстовских идеалов. Вместе с тем, существенным для современников было и то, что на путь «истинной работы жизни» вступил человек, ранее шедший совершенно иной дорогой, игравший более или менее заметную роль в русской культурной жизни начала XX века. Ценность пути определялась и здесь — осознанно или бессознательно — духовной ценностью оставленного.

Резко падает интерес к деятельности и творчеству Л. Семенова в 1920—1950-х годах. Правда, в 1920 — нач. 30-х гг. можно указать на интересные, хотя, как правило, беглые и не всегда точные сведения о Семенове в мемуарной литературе¹⁶. Затем — на долгие годы — исчезают и такого

⁸ Представляет интерес также связь мыслей символистов о Л. Семенове и концепции романа А. Белого «Серебряный голубь».

⁹ Связь с «интеллигентным миром» Л. Семенов поддерживал через А. Руманова, журналиста и сотрудника газеты «Русское слово», хорошего знакомого большинства петербургских символистов.

¹⁰ См.: В. Сапогов. Лев Толстой и Леонид Семенов (Об одном корреспонденте Л. Н. Толстого). — Уч. зап. Филологическая серия. Вып. 20, Кострома, 1970.

¹¹ Свой. В Ясной Поляне. — «Русское слово», 1908, 24 мая.

¹² См. сноску 10.

¹³ Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений. Т. 77, М., Госполитиздат, 1956, с. 175.

¹⁴ Там же, т. 80, с. 160.

¹⁵ Там же. Ср. у Д. С. Мережковского об А. Добролюбова: Л. Толстой говорил, но не делал того, о чем говорил <...>. А жалкий, смешной декадент, немощный ребенок сделал то, что было не под силу титанам» (Д. С. Мережковский. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. СПб., 1908, с. 104).

¹⁶ См.: В. Пяст. Встречи. М., «Федерация», 1929 (гл. III — «Леонид Семенов»); Георгий Чулков. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., «Федерация», 1930 и нек. др. Неточности, а порой и искажения фактов возникали, в частности, при попытке перевода описываемого на со-

рода упоминания. Имя Л. Семенова (обычно в сочетании: «Добролюбов и Семенов») встречается лишь в общих работах о русском символизме и лишь в связи с их «уходом в народ». Повторяясь из статьи в статью, одни и те же факты биографии и творчества постепенно неизбежно искажаются.

Интерес к Л. Семенову вновь появляется лишь в 1960-х гг. (см. упоминавшиеся выше работы Ю. К. Герасимова, В. А. Сапогова, отчасти мою статью «Ал. Блок и Л. Н. Толстой»). Но именно теперь становится очевидным, что дальнейшее изучение творчества и жизни Семенова невозможно без выявления полного корпуса его произведений и, прежде всего, — без публикации созданного им в конце 1900—1910-х гг. Этот пробел в значительной степени должна восполнить настоящая публикация.

* * *

Леонид Дмитриевич Семенов-Тянь-Шанский род. в Петербурге 19 ноября 1880 г.¹⁷ По отцу он был внуком ученого и государственного деятеля, П. П. Семенова-Тянь-Шанского, по матери — внуком статистика и метролога А. П. Заблоцкого-Десятовского. Отец Семенова, Д. П. Семенов-Тянь-Шанский, также был статистиком.

Л. Семенов рос вместе со своими многочисленными братьями и сестрами (в семье было 7 человек детей), первоначальное образование получил дома (его домашним учителем был студент историко-филологического факультета СПб университета Ф. М. Шмидт) и в училище при евангелическо-лютеранской церкви св. Екатерины. В годы отрочества и ранней юности главными увлечениями Л. Семенова были немецкая литература, музыка (в частности — композиция), а также — дань семейной традиции — зоология и энтомология. В 1899 г. Л. Семенов становится студентом естественного отделения физико-математического факультета СПб университета, а в 1901 г. переходит на историко-филологический факультет, где занимается у проф. Ф. Ф. Зелинского и М. И. Ростовцева. Преимущественно через студенческий литературный кружок, руководимый доц. Б. Никольским, Л. Семенов сближается с Блоком (оба дебютируют в Литературно-художественном сборнике студентов СПб университета в 1903 г.), А. Кондратьевым, В. Поляковым, М. Волошиным, С. фон Штейном и др. Одновременно он знакомится с Ме-

вершено иной культурный язык. Так, В. Пяст, говоря о страшных пытках, которым подвергался Л. Семенов при аресте и 1906 г. (см. ниже, с. 132), пишет: «И Семенов писал другу, что ему нисколько не стыдно теперь вспомнить, что он хватал в эти минуты колени своих мучителей обеими руками и чуть ли не прикладывался к сапогам городских, умоляя их о пощаде и прося прощения за все свои прегрешения против полицейского строя» (ук. соч., с. 39). Однако для самого Л. Семенова, уже склонявшегося к толстовству, этот эпизод имел совершенно иной смысл — не измены прежним убеждениям и, тем более, не примирения с «полицейским строем». Охваченный толстовским пафосом всепрощения, Семенов был глубоко потрясен греховностью действий своих палачей и тяжестью — для них! — совершаемого. Его «мольбы» о пощаде и прощении вызваны чувством вины за зло мира и стремлением увести своих мучителей с пути гибели.

¹⁷ Сведения по биографии почерпнуты, главным образом, из неопубликованного письма дяди Л. Семенова, А. П. Семенова-Тянь-Шанского (зоолога, почетного президента Русского энтомологического общества, 1866—1942) к С. А. Венгеру от 19. I. 1918 г. (ИРЛИ, Архив. Критико-биографического словаря С. А. Венгерова, Собрание первое, № 2467), а также из более раннего (15. VI. 1913 г.) письма к Венгеру брата Л. Семенова, Рафаила (там же, № 2467). Ниже ссылки на эти источники особо не оговариваются.

режковскими и Философовым (в журнале «Новый путь» опубликована его пьеса «Около тайны»), посещает религиозно-философские собрания.

Духовное развитие Л. Семенова отличается крайней стремительностью. В начале XX в. — это поэт-символист, не только далекий от политической борьбы, но и — временами — с вспыхивавшими монархическими симпатиями, и «академист», постоянно выступавший против студенческого движения¹⁸. После 9 января 1905 г. Семенов, потрясенный свидетелем «кровавого воскресенья», уходит в революцию и становится социал-демократом, участником Гельсингфорской конференции, агитатором среди крестьян Курской губернии, депутатом I Думы. Дважды арестованный, во время второго ареста зверски избитый, он выходит на свободу лишь в конце 1906 г. К этому времени Семенов, однако, начинает отходить от участия в революционном движении. Спад революции, соприкосновение в 1905—06 гг. преимущественно с крестьянской стихией, самоубийство революционерки М. Добролюбовой, духовной «сестры» Л. Семенова¹⁹, оказавшей решающее воздействие на его взгляды и поступки революционных лет²⁰, — приводят писателя к мысли о бесплодности борьбы, к настроениям всепрощения и непротивления злу. Л. Семенов «уходит в народ»: он батрачит у зажиточного крестьянина в Рязанской губ., одно время работает в шахте. Теперь его более всего привлекают религиозные формы народного протеста — сектанство (в частности — секта «добролюбовцев», с основателем которой, А. М. Добролюбовым, Семенова роднит общий «сюжет» их жизненного пути и духовной эволюции). Однако мировоззрение Л. Семенова конца 1900-х — нач. 1910-х гг. ближе всего к толстовству (устремленность к нравственному самоусовершенствованию и отрицание «внешних» — социально-политических — форм изменения жизни; отождествление бога с исконно заложенными в человеке началами добра и — с этих позиций — отрицательное отношение к христианской мистике и к «исторической» православной церкви и т. д.). Толстовство определило и этические взгляды Семенова: аскетизм (отрицание брака, собственности, проповедь вегетарианства), неприятие государства как формы насилия (дивившаяся несколько лет упорная борьба против исполнения воинской повинности), отвержение «соблазнов» культуры и искусства (отход — на несколько лет — от писательской деятельности) и т. д.

После смерти Л. Толстого взгляды Семенова вновь (хотя и не столь бурно, как прежде) меняются. Он постепенно возвращается к литературной деятельности, (в частности, начинает писать публикуемые «Записки»), принимается за обработку небольшого земельного участка, полученного им от родственника — помещика Дашковского уезда Рязанской губ.; в его деятельности, как тонко подметил один из критиков, все заметнее «дух восьмидесятых годов», «теории малых дел». Примирение с исторически сложившимися формами народной жизни и сознания возвращают Семенова к православию: под влиянием посещений Оптиной пустыни он решает стать

¹⁸ Разумеется, и в этот период нет оснований причислять Семенова к «активным черносотенцам», как это делает В. Пяст (Встречи, изд. «Федерация», 1929, с. 37).

¹⁹ Ряд мемуаристов и исследователей называют М. Добролюбову невестой Л. Семенова (см.: Ю. К. Герасимов, ук. соч., с. 542). О характере их взаимоотношений см. ниже, с. 116—144.

²⁰ Талантливый и яркий человек жертвенного склада, участница русско-японской войны и революции 1905 г., красавица М. Добролюбова, по-видимому, оказывала в 1905 г. значительное влияние на революционеров эсеровского толка («Машу Добролюбову, эсерку, слушались все деятели, составлявшие самый центр революционного движения 1905 г. Так, по крайней мере, казалось тем, кто был близок к эсерам в ту пору» — В. Пяст. Встречи, М., изд. «Федерация», 1929, с. 38. Ср. у А. Блока (запись слов А. В. Руманова): «Главарь революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни — ход русской революции мог бы быть иной» (Ал. Блок. Собр. соч. Т. 7, М.—Л., 1963, с. 115).

сельским священником. В 1918 г. Л. Семенов был убит одной из банд, разбойничавших вокруг его родных мест.

Публикуемый текст «Записок» представляет интерес во многих отношениях. Прежде всего, он является литературным произведением, приближающимся по жанру к «Исповеди» Л. Н. Толстого. Соединение исповеди и проповеди, история собственной жизни как рассказ о «падении» под влиянием лжи и разврата существующего общества и о последующем возрождении — результате внутреннего просветления, равно как и определенные пласты фразеологии (например, употребление выражения «развратная жизнь» в значении «праздная», «барская», «утонченно-цивилизированная»), — недвусмысленно ведут нас к традиции Толстого. И хотя «Записки» представляют безусловную ценность как исторический и историко-психологический памятник, документ, живо рисующий самоощущение определенной части русской интеллигенции в годы революции, используя его, нельзя забывать о той специфике, которую накладывает на текст идейная и художественная позиция писателя.

Однако художественная природа этого текста исключительно сложна. Прежде всего, она определена субъективно-отрицательным отношением самого автора ко всякой «художественности» как делу барскому. Собственную жизнь Семенов представляет как своеобразный уход из «соловьиного сада» — разрыв с миром эстетических переживаний и подчинение себя суровой этике служения народу. На этом пути, при всей его извилистости (социал-демократ, заметный партийный деятель, агитатор в деревне, толстовец, батрак, шахтер, сельский священник), Семенов идет, в этическом отношении, по исключительно прямой дороге, неизменно избирая путь максимализма и жертвенности. «Строительство собственной жизни» становится для него основной сферой духовного творчества, а писательство составляет лишь часть этого труда. Сам Семенов считает, что он отказывается от искусства ради нравственного служения. В исторической перспективе видно, что он создает искусство нравственного строительства собственной личности, в котором понятие духовной красоты играет определяющую роль.

Существенной стороной личного поведения Семенова являлось решительное уклонение от всех форм жизни-«игры». Однако поскольку именно игра калась в основу модернистской культуры общественного поведения, позиция Семенова была ориентирована на разрыв с декадансом не только как с литературным явлением, но и как с определенной жизненной позицией.

Лежащий в основе первой части «Записок», публикуемой в настоящем выпуске «Трудов», рассказ об отношениях автора и М. Добролюбовой интересен не только той ролью, которую эта деятельница сыграла в литературном и революционном движении периода Первой русской революции. Сложная философская зашифрованность этого романа, превращающая реально-бытовые отношения мужчины и женщины в трагический конфликт, вбирающий в себя высшие идейно-теоретические искания эпохи, и степень духовного накала и, одновременно, потрясающей нас неспособностью «простого» взгляда на жизнь неотразимо напоминает мир «прямухинской гармонии», кружка Станкевича, любовь и философию в жизни молодого Белинского и Бакунина.

Атмосфера этих переживаний резко отличается от «любви декадентов» — например, от романа Брюсова и Н. Петровской. Она обнаруживает глубокую связь русской интеллигенции начала XX в. с традицией рудинных-лаврецких и отмечена слиянием представлений о личном счастье с идеями вины перед народом, жертвы и самопожертвования. Вместе с тем, «сюжет» взаимоотношений Л. Семенова и М. Добролюбовой существенно сопрягается с «мистикой любви» в культуре младших символистов и, в свою очередь, оттеняет многое в «мистическом романе» юного Блока (ср. хотя бы легкость отождествления Прекрасной Дамы и революции в лирике 1904—1905 гг.).

«Записки» Л. Семенова — искренний и волнующий документ эпохи — интересны и для историка литературы, и для историка культуры в целом.

Публикуемые ниже автобиографические записки Л. Семенова создавались им в 1910-х гг. на протяжении нескольких лет. Так, 15 июня 1914 г. Р. Д. Семенов-Тянь-Шанский, брат писателя, отвечая на просьбу С. А. Венгерова прислать для второго издания «Словаря» биографию Л. Семенова, сообщает, что тот «проживает здесь в СПб в квартире моего отца и обрабатывает повесть автобиографического свойства для печати» (прося «это известие сохранить в тайне»)²¹. Последние страницы «Записок» писались утром в день трагической гибели Л. Семенова, 13 декабря 1917 г. Рукопись находившаяся в доме Семенова в с. Гремячка, через сестру писателя, Веру Дмитриевну, была передана Р. Д. и М. Д. Семеновым-Тянь-Шанским. Текст повести Л. Семенова, текстуально близкий к публикуемому, с примечаниями М. Д. Семенова-Тянь-Шанского и черновыми вариантами хранится в ЦГАЛИ (ф. 316, оп. 1, ед. хр. 2—4). В Архиве АН СССР в Ленинграде, в фондах М. Д. и А. П. Семенова-Тянь-Шанского (ф. 873, оп. 1, ед. хр. 86 и ф. 722, оп. 3, ед. хр. 52) имеются дефектные экземпляры текста, а также машинописные и рукописные выписки из дневника Л. Семенова за 1917 г. Мы публикуем текст «Записок» по машинописи, полученной от родственников писателя другом Л. Семенова, впоследствии чл.-корр. АН СССР Б. Е. Райковым, и снабженной его комментариями.²² Рукопись эта попала к ленинградскому литературоведу Э. Шубину. Им же были собраны и некоторые подготовительные материалы к работе. Однако смерть (1975 г.) помешала ему подготовить публикацию. В портфель редакции «Трудов по русской и славянской филологии» «Записки» Л. Семенова и подготовительные материалы Э. Шубина к вступительной заметке (частично использованные нами) были переданы другом покойного исследователя, докт. филолог. наук А. М. Панченко. В настоящем томе печатается только первая часть «Записок». Комментарии к тексту записок будут опубликованы вместе со второй, заключительной, их частью. Печатается с небольшими сокращениями, обозначенными отточием в ломаных скобках.

3. *Мици*

²¹ РО ИРЛИ, архив Критико-биографического словаря С. Венгерова, собр. 1, № 2467, л. 3. Судя по тому, что в одной из начальных глав «Записок» о событиях 1906 г. Л. Семенов говорит как о делах семилетней давности (см. с. 129), начало работы над публикуемым произведением можно приблизительно датировать 1913-м годом.

²² См. подстрочные сноски в настоящем издании.

ЗАПИСКИ

Л. Д. СЕМЕНОВ

ГРЕШНЫЙ ГРЕШНЫМ

Бывают дни у человека, когда какие-то невидимые силы особенно сильно возвращают дух человека, заставляют оглянуться назад, на себя, на все пройденное им прошлое, чтобы еще вернее оценить все, что с ним было и глубже, чем это было тогда, когда это было им переживаемо и тем тверже стать на найденном пути. Такое время пришло ко мне в этом году, когда после нескольких лет стремительных перемен, когда некогда даже было озираться назад, я был оставлен одним с собой далеко от друзей и оторванный от видимого труда, которым за эти годы научился наполнять свое время. В это время я по немощи своей единственное утешение себе находил в том, что уединился от всей тяжелой обстановки, какая была кругом, и свирепых мыслей, пробуждаемых ею, - в свое прошлое и в встречи, которые были в нем. Так и составились там понемногу эти записки.

Часть первая

1.

Говорят люди, и это есть страшные слова, что нужно человеку испытать все: и добро, и зло, что без зла не будет в нем полноты жизни. Но зло не есть жизнь, а зло есть отсутствие жизни, и нет конца богатству жизни для тех, кто ищет только добра, кто от юности ищет только Его, боясь потерять и минуты на что-нибудь другое. И нет конца горю и раскаянию того, кто, увидев добро, начинает познавать, как безвозвратно и как многое он потерял тем, что не всегда стремился к Нему, тратил время на зло, на пустое... Иногда даже кажется мне, что есть грехи непростимые... Может быть, даже это и есть единственная вечная мука на всем Свете мироздания, что в памяти нашей некоторые грехи наши никогда не изгладятся, никогда не превратятся в Свет. Пусть Бог, пусть все люди простят мне их, я не прошу их себе. И может ли Он Всеблагий и Всемогущий сделать так, чтобы мы их простили себе, не нарушив нашей свободы, которая есть драгоценный дар Его нам.

До 1905 года я жил жизнью, которую живут все образованные люди моего возраста. Ничем особенным не выделялся из них и едва ли кто из окружавших меня подозревал всю грешную язву души моей, ту язву, которую они и сами в себе часто не видят. Был для всех обыкновенным, ни плохим, ни хорошим человеком. Да и было во мне рядом с тьмой, о которой упомянул, и много хорошего, чего не скрою, — как оно есть и во всех людях. Но это-то и делало тьму еще более темной. Пожалуй, самым посто-

янным и положительным во мне Светом в эти времена было сознание, которое вылилось тогда однажды в стихотворение, написанное в 1903 г. «Свеча» озаглавил я его; в нем пропускаю строки, присочиненные тогда ради рифмы.

Я пустынею робко бреду
И несу ей свечу восковую.

• • • • •

Кем? Зачем мне она вручена?
Я не знаю... Робею...
Но не мною свеча зажжена,
И свечи загасить я не смею.

Это стихотворение я любил тогда, но и много позднее часто служило оно мне удовлетворительным ответом на все самые тяжелые вопросы жизни и предупреждало от мыслей о самоубийстве. Но сознание, которое вылилось в нем, сознание зависимости моей жизни от Кого-то Неведомого, Который дал мне жизнь, и Которому я должен поэтому дать отчет в ней, было все же для меня неясно. Кто Он? Этого я не знал. Бог ли он, вневременное, вечное начало над нами, - Единственный и Всемогущий Судья и Творец наш, — или только история человечества, слепые и таинственные силы, создавшие меня в потоке времени и вынесшие на их поверхность, чтобы здесь явил я накопленное ими содержание свое другим. Скорее склонялся к последнему, т. е. верил, как верят и все образованные люди, что знания мои, таланты, способности и умственные силы, развитые воспитанием и положением моим в обществе, и есть тот Свет-Свеча, которую принес я в пустыню жизни, чтобы ею послужить людям в их движении вперед к какой-то неведомой нам цели, в движении, которое и зовется на их языке прогрессом. Но сомнения, есть ли моя личность и ее богатство еще Свет, а не тьма, — этого сомнения еще не было во мне. Только мучили вопросы — как и к чему лучше всего приложить свои силы.

Был же я к этому времени студентом четвертого курса Историко-филологического факультета, готовился уже к государственному экзамену и открывались мне за ними разные дороги. Мог я стать ученым, оставленным при Университете для дальнейшего образования по избранным мною наукам, ибо был любим своим профессором-учителем и занимался в Университете хорошо; мог идти и на какую-нибудь государственную или общественную службу; но всегда больше манило меня к себе, пожалуй, писательство, в котором я уже выступал и довольно удачно, т. е. заслужил сразу признание в самых передовых в то время литературных кружках... Но ничто не удовлетворяло. Я был на перепутьи, что и сам чувствовал, т. е. чувствовал, что должен как-то проявить себя и может быть послужить другим людям, даже мучился иногда укором, что ничего еще не сделано мною в этом отношении, но и не знал, как и что мне делать. Не было ничего твердого, устойчивого во мне. Вся жизнь представлялась часто быстрой, утекающей куда-то рекой, за которой мне трудно поспеть, так что и страх даже был, не останусь ли я и вовсе со всеми своими честолюбивыми и самоуверенными замыслами где-нибудь на мели вне ее...

Эти вопросы — для чего я живу и что должен делать — пробудились во мне рано, и тогда же пробудились под ними и более глубокие вопросы, чем просто те: как и к чему приложить свои силы; только не умел я в себе отделить важное от неважного и часто неважное, под влиянием других людей, принимал за важное. Впервые же остро и чисто поднимались они во мне в возрасте 14-16 лет. Тогда всей силой души своей я почувствовал вдруг, что все то, к чему меня готовят окружающие меня люди, мои родители и наставники, чему учат и чем сами живут, не есть еще то, к чему призван человек, и вообще не то, что есть правда. И первым решением воли, не пожелавшей расходиться с велениями внутреннего ощущения правды и

лжи, было: оставить гимназию, ибо ее-то и почувствовал я прежде всего ложью, отчасти потому, что кругом себя и в семье часто слышал разговор взрослых, осуждавших классицизм и казенщину гимназий и удивлявших меня тем, что, несмотря на свое осуждение, держат нас в этом зле. Что делать взамен учения в гимназии и вообще взамен того, что все кругом делают, я хорошенько не знал, но для себя находил выход в том, что вообразил себе свое призвание в музыке и вообще в искусстве, с которыми я связал свои первые, только что пробудившиеся мечты о служении всему человечеству, мечты чистые вначале, но скоро отравленные чтением жизнеописаний великих людей, вливших в душу яд честолюбия и славолубия. Я заявил отцу о своем желании оставить гимназию. Отец, конечно, не согласился, начал меня уговаривать, я — спорить, и около года продолжалась у меня упорная борьба с ним и с гимназическим (начальством за то, чтобы отстоять свою свободу от них. Борьба кончилась (ничем, но была так остра, что я заболел и был одно время даже при смерти, отчасти оттого, что и сам желал этого, когда, отчаявшись в своих силах и возможности для себя быть верным принятым мною (решениям, перестал видеть смысл в своей жизни. Но в конце концов смирился и заключил с родителями нечто вроде договора, что кончу гимназию, а взамен того получил от них свободу заниматься музыкой и чем хочу.

Но в этой борьбе, в этом первом более или менее самостоятельном столкновении моем с другими людьми на почве сознания своей одинокости и того, что я не нашел себе никакой поддержки в других людях, пробудалась во мне еще и другая и более глубокая неудовлетворенность жизнью и самим собою. Себя запертым увидел я в своем замке. Хочу из него рвануться к другим людям и не могу. Нет путей у нас друг ко другу и нет ключей, чтобы выйти на волю, на простор и там слиться всем вместе в любви. Тогда слова в 9-й симфонии (Бетховена: «падите ниц вы, миллионы» и Шиллеровский романтизм, вынесенный из немецкой гимназии, наиболее отвечали моим переживаниям, вдохновляя на борьбу с окружающими. А борьба усложнялась вопросами о долге, о любви, о том, что такое любовь, чего должна желать она людям, как могут быть две разных любви. Ибо видел любовь родителей ко мне, которая желала мне и другим людям одного, я видел свою любовь, которая желала всем другого. К ним начала присоединяться и любовь к другим людям, сначала к младшим меня в семье, к братьям и сестрам, которые, подрастая вступали или должны были вступить в ту же полосу противоречий своих стремлений со стремлениями старших. А в этой любви был уже какой-то жуткий страх. Впервые приходили мысли о конечности всего земного, когда видел других людей перед собой и любимых и начинал сознавать, что все живут — вот живут на земле, куда-то спешат, чего-то ждут, а потом вдруг куда-то обрываются и исчезают все... приходит старость, смерть. Куда же исчезает все. И не остаемся ли мы обманутыми жизнью, которая в молодости так много и так заманчиво сулит нам прекрасное на земле, а потом все отнимает, не исполнив, может быть, и половины того, что сулила. Уже содрогалось сердце перед призрачностью всего видимого.

Но неуменье, да и невозможность для взрослых ответить мне на все подымавшиеся мои вопросы будили во мне, с одной стороны, сознание, что и старшие меня живут слепо, а с другой стороны, может быть даже и некоторое высокомерие, что в свою очередь, рядом с кажущимся утверждением моего особого от других призвания к жизни — ибо так понимались окружающими меня мои стремления к музыке — еще более увеличивало мою отчужденность от всех и холодную на вид замкнутость в себе. Любовь тле-ла под этим, но не умея себя, как это часто и бывает в людях, прямо и просто проявить им, искала выхода в нелепой и фантастической мечтательности, какой и явилось для меня искусство. Так создавался безысходный круг противоречий, юношеская драма, может быть, и многих таких же как я юношей в те времена, да и ныне, которая тогда так и не нашла себе никакого разрешения. Но вопросы, поднятые ею, раскрыли предо мною язвы

жизни, которую жил я и к которой готовился, а язвы, оставаясь долго незамеченными, были болезненны теперь уже при всяком и малейшем прикосновении.

Наконец увлечение музыкой мало по малу отошло, и причиной тому были опять те же более глубокие запросы и алкания души и сердца, которых музыка очевидно, не могла удовлетворить. Но только много позднее решился я это окончательно осознать, т. е. признать, что в музыке и вообще в искусстве есть препятствие на пути человека к Богу. Есть соблазн в них так называемыми эстетическими эмоциями (художественными впечатлениями или просто внешними шекотаниями чувств) заменить те внутренние, нравственные удовлетворения, которые ищет дух, когда чувствует себя одиноким и оторванным от других людей, когда жаждет Бога. Блаженны минуты юношей и девушек, кто знает их, когда просыпается в них дух и алчет Вечности — своей родимой Матери. И я такие, минуты знал в это время, то иногда при взгляде на звездное небо по ночам, когда чувствовал в нем дыхание чего-то близкого, бессмертного, тихого, и умилялся перед ним, — то иногда в редкие, но на всю жизнь запомнившиеся минуты откровенных почти мгновенных разговоров с теми или другими немногими близкими людьми, с которыми рос, с братьями или сестрами в детской или товарищами, когда истинная любовь и трепет и жажда чистой жизни охватывали сердца... Еще был в детстве более раннем, чем это, год чистых и жарких молитв к Творцу веков, когда мальчиком на коленях, на кровати и без заученных слов, но со слезами просил я, чтобы Он помог мне перестать шалить и не огорчать родителей. Мне было тогда лет 10 или 11 — и тогда уже испытал я силу услышанной молитвы, но потом это забылось. Думаю, ни один человек не лишен в детстве и в юности таких огней в ночи, и страшно забвение, которое приходит после и отводит нас от них. Но музыка, конечно, не могла заменить того, чего алкало в эти минуты сердце, она могла только это подменить. И живо помню горькие минуты разочарования, в котором долго сам себе не хотел признаться, но в те минуты, когда еще будучи гимназистом и вернувшись домой из какого-нибудь концерта, где готовился с торжеством и благоговением прослушать симфонию Бетховена или Чайковского, опять и опять находил, что ничего там в сущности особенного и не произошло, но все <как> было, так по-старому и осталось. Шли мы туда, собирались как камешки холодные в кучку; побыли вместе и опять рассыпались каждый в свой угол, оставшись такими же, как и были. Никакого таинства чуда, которого ждал, никакого слияния всех со всеми, про которое силился себя уверить, что оно есть в искусстве, ничего такого там не было. Мало по малу это разочарование — как <ни> не хотелось мне самому в этом признаться, становилось так мучительно, что я вовсе уже переставал играть на рояле ори людях, которых не чувствовал зараженными своим увлечением. Достаточно было одного рассеянного, неподходящего слова какого-нибудь, или входа в комнату постороннего к музыке, напр., горничной, или служащих в доме, а в деревне в особенности присутствия поблизости простых людей — крестьян, которые могли бы мою музыку услышать и осудить, — чтобы все очарование мое музыкой исчезало как дым. И была честность, которая не позволяла эти разочарования приписывать всегда отсталости и грубости других людей, но и видела уже, что это дело не в них, а в самой музыке и в самом искусстве, которое уже по одному тому, что ограничено телесностью, не может быть путем слияния всех в Единое, и не есть еще то, что мне и всем нужно. В концертах иногда мучился жестокой мыслью, что какой-нибудь капельдинер, служащий при зале, или литавщик и барабанщик, играющий в оркестре за деньги, здесь присутствует только по нужде и никогда не станут причастными <так! — З. М.> к тому, в чем мы хотим видеть наше священнодействие и торжество. Так мало по малу всякое удовольствие от музыки отравлялось, пропадала охота ходить на концерты и самому заниматься ею... Но это пришло окончательно уже позднее, когда на смену музыке пришли и другие соблазны, а пришли они, когда поступил я уже в университет.

Здесь первый несколько аскетический пыл души понемногу расплылся в шумной и бурной внешней жизни, которая обступила кругом. Сначала сходки в нем и мое участие в них, довольно бессознательное, но мятежное, на почве бунта личности против толпы, власть которой впервые увидела здесь над собой и над другими, и на почве весьма не проверенных чувств моих, вынесенных из дворянской семьи, заняли почти целых два года моей жизни, оба первые года, которые провел на естественном факультете. Потом к прежним соблазнам (художественность, честолюбие, самолюбие и другие) прибавились новые, и из них самый острый и страшный для юного возраста соблазн половой похоти. До этого я был довольно строг к этим чувствам в себе, или, вернее сказать, робок и стыдлив в них, хотя, конечно, и во мне пробудились они естественно в том возрасте, в котором это им и следует. Но теперь, окруженный и книжками, и людьми, свободно посвящавшими таким вопросам внимания, и я сам стал искать в себе развития этих чувств, боясь отстать от других, и боясь почему то именно в этом «не быть, как все». Сначала это было именно так, а потом и действительно возбужденное и воспаленное воображение сосредоточило их на одной девушке, с которой я в это время встретился. И начались самые позорные и гадкие годы моей жизни. Теперь я думаю об этом так нет, конечно, ничего удивительного в том, что эти чувства были во мне, и в них самих нет еще греха, и нет ничего удивительного в том, что Бог в сердца людей, почувствовавших друг к другу плотское влечение, в сердца мужчины и женщины и еще больше юноши и девушки, влагает любовь, нежность, уважение, внимание их друг на друга, сострадание, признательность, чтобы соединившись они жили друг с другом не только как животные, но и как существа, одаренные разумом и душой, и нет ничего удивительного, что любовь к одной девушке, рядом с похотью к ней и даже прежде нее, как это часто и бывает в людях, стала волновать меня. Она могла несколько отвечать и моей тоске в одиночестве и потребности хоть кого-нибудь любить, выйти из себя для других людей. А девушка вполне доверялась мне, и мог я ей быть полезен, мог быть ей даже опорой в ее стремлениях к широкой и самостоятельной жизни, о которой она мечтала. Во всем этом нет ничего странного. Но как могло случиться, что выхода из своего такого положения я стал искать не в любви к ней, а именно в похоти моей и самый миг моей низкой страсти, в мечтах представлял себе, как она отдаст себя мне, стал считать за цель и смысл всей моей жизни и как могло быть это, когда при этом хорошо сознавал я, что моя похоть идет в разрез любви, ибо эта похоть моя разделялась девушкой и мучила ее и пугала, роняла меня перед ней. И как могло случиться, что, мучая так себя и девушку, я стал впутывать в свое мучение еще и других, другую тоже девушку, полюбившую меня, или вернее развращаемую мною и моими стихами, и наконец, превращая все это в игру, т. е. любясь этим и воспевая блудную страсть свою в стихах, показывать ее другим людям и даже печатать их, чтобы получить от них похвалу и дань удивления.. Этого уже я не могу себе простить. Конечно, эта похоть и то, что я делал, и есть содержание почти всей мировой литературы, всех бесчисленных ее романов, стихов и драм, которых был так начитан я тогда. Но перед Богом все-таки нет и не может быть этому прощения. И когда вспоминаю теперь об этом, то могу себе это объяснить только той полной праздностью внешней и внутренней и неверием в Бога, в которых жил тогда. Не было никакого дела у меня, которому бы был я предан, а поэтому и все, что только возникало во мне, казалось мне и важным, и великим. Ты только цветок на поверхности вод, а поэтому и давай всему волю в себе, хотя бы цвет твой и был порочен. К такой мысли и к такому взгляду я приходил и тогда иногда. А это-то и есть тот грех, о котором сказал в начале своего писания, что не могу себе его простить. Не было бы еще этого греха с моей стороны, если бы я не знал, что то, что я делаю — грех. Но с самого начала, как я себя помню, я был человеком раздвоенным, т. е. человек, который уже ни в чем не мог окончательно забиться и потерять те вечно недоуменные вопросы обо всем, что ни видит и что

ни возникает в нем — для чего это и какой это имеет конечный смысл. Мы не знаем, отчего в одних людях эта высшая требовательность сознания, идущая от всего единого, конечного смысла, — есть, а в других ее нет, это неведомая для нас воля Создателя, управляющая судьбами человекoв, но для тех, в которых эта требовательность уже возникла и которым она нигде не дает покоя, для тех уже ничего не остается, как пойти за ней с доверием и решимостью удовлетворить ее. Я же знал, что увлечение мое похотью моей и мученье мое ею девушки бессмысленно и нехорошо, как знал это и раньше про свою музыку, и теперь про стихи, но упорствовал в этом, упорствовал почти сознательно, потому что не хотел взглянуть до конца бесстрашно в себя и продумать до конца, что же наконец осмысленно и хорошо. Жалко было расстаться с теми минутными наслаждениями, которые дарила бессмысленность, и не верилось в то, что есть вообще конечный смысл и высшая ценность всего, не верил в Бога. Да. Был как листок, оторванный от родимого дерева и гонимый ветрами то туда, то сюда, листок, для которого нет ни низа, ни верха. А это и есть игра. Игра — для человека, знающего логику и ощущающего в себе законы ее — не мыслить согласно им, а мыслить нарочно бессмысленно и нелогично; но такая же игра, а не жизнь — и поступки человека, который внутри себя читает таинственные, может быть, и не совсем еще ясные ему, но повелительные законы о том, что хорошо и что худо, что имеет ценность перед Высшим Смыслом жизни и что нет, но живет не так, как это законы велют, а против них. Ты — листок на дереве жизни, но не на том, который видишь кругом, а ты в тех мерках добра и зла, которые заложены внутри тебя, они — листочек на неведомо прекрасном и невидимом для очей плоти дереве жизни; их волю исполни, как исполняет листочек волю дерева, на котором вырос, не задумываясь, для чего это и как это понравится другим, исполняет потому, что в этом жизнь его, и потому, что знает, что как только оторвется он от нее, то будет уже сухим и мертвым, — и вот эту-то жизнь человекoв я и топтал в себе.

Неизъяснимо ощущение осмысленности и вечности того, что делаем, когда исполняем волю Добра, но так же неизъясними нам и законы логики, почему они именно таковы, как они есть, а не другие, но мы все же исполняем их, когда хотим мыслить, потому что не исполнять их для мысли — значит не жить мыслью, не мыслить вовсе; почему же отрываемся мы от законов того, что добро и зло, что правда и неправда, что искренность и неискренность законов, так же таинственно вложенных в нас, как законы логики в разум, и законов, в которых одних только и есть жизнь духа и без которых дух так же мертв, как мертва нелогичная мысль. Вот в этом-то мертвом состоянии я и находился тогда, думая не о том, что хорошо во мне самом, перед судом Вечно-зрящего, хотя и неизвестного мне судии и Его законов во мне, а что хорошо перед людьми, чтобы не отстать в их глазах от других, понравиться им и даже опередить всех и отличиться в безумной игре и гонке внешней жизни.

Но то, что мне самому представлялось красивым в стихах и в разнuzданном звонкими словами воображении, то в обыденности тогда являлось вовсе в другом свете. Да и не мог же я в самом деле хоть иногда не видеть, что ничего, в сущности, я особенного со всеми своими страстями и запутанностями в них не представляю и что все это было уже миллионы раз пережито до меня другими, и так же и даже еще гораздо лучше меня воспето ими и в стихах, и в драмах. И скучно становилось тогда от всего. Но еще страшнее были минуты, иногда посещавшие меня, когда, оставшись один и немного очнувшись от угара, которым опьянял себя среди людей, вдруг поистине ничего не находил в себе кто я и что я — и не находил уже в себе никаких нравственных устоев, на которые бы мог опереться, чтобы удержаться от любого прихлoдившего в голову поступка... Ужели уж так пал я, ужасался я даже и тогда иногда. Убийство воспевалось в то время в некоторых декадентских течениях, к которым я был причастен, и врывалось уже в жизнь все учащавшимися террористическими актами Почему и

не убийство. Убить девушку, упорно не уступающую моим желаниям и уже заподозренную мною в чувствах к другим, девушку, которую любил, и это казалось красивым. Простите, братья, что это пишу, но пишу, чтобы показать всю глубину своего падения и падения, близкого не мне одному. Бывали минуты, когда отсутствие смелости ко всему уже начинало казаться мне слабостью в <I нрзб> смысле этого слова. А Ницше, страшно сказать, безумец Ницше был моим любимым философом. В действительности же, как я теперь понимаю мое тогдашнее состояние, строгий ангел хранитель все же еще не вовсе покидал меня, как не покидал Он и никого из нас, хотя мы и не видим Его. Он и берег меня еще от окончательного падения. Бессилие победить Его и бессилие победить свои страсти - вот что было мое то безнадежно нерешительное состояние.

Но в 1905 году уж так больше продолжаться не могло. В этом году страх мой за себя, страх за то, чтоб не остаться мне мелким и холодным камешком пошлой обыденщины жизни, где и писанье стихов и какая-нибудь служба мне казались скучным и пустым переливанием из пустого в порожнее, и шли в разрез всем Ницшеанским мечтам, чтобы быть сильными, смелыми победителями жизни. Страх этот как будто бы совпадал и с тем, что переживалось всеми в образованном обществе в это время. Раскаты грома войны достигали и Петербурга. Лучше уж гроза, лучше уж что-нибудь, чем это мертвое спокойствие пошлости. Может быть, и многие сердца сжимались в это время такой жадной грозы. Так, мысль броситься в революцию родилась у меня на улицах Петербурга 9 января 1905 года, когда, влекомый больше всего, конечно, любопытством, я бродил среди растерянных рабочих и видел кровь их и слышал возглас мести, даже и сам чуть не был убит у Пилтейского моста на Невском.

Теперь чувства вины моей перед этим народом, чувства, которые никогда не умирали во мне совсем, а иногда даже и мучительно грызли сердце как это было при моем увлечении музыкой, — стали казаться мне выходом из моего положения. Незадолго до этого, летом 1904 года в деревне, в усадьбе моего деда, я помогал ему в раздаче пособий женам запасных солдат, призванных на войну, видел горе их и нужду и слезы. Целый день толкался среди них, записывая сведения о них, и слушая их рассказы, и это дело, хотя и могло отвечать самым лучшим стремлениям во мне, более чем остальное что я в это время делал, оставило во мне грустный осадок сознания бесполезности и ничтожности того, что образованные люди такими путями хотят сделать для народа, — и незаметно для меня вместе со всем тем что и всеми переживалось и переоценивалось кругом в горьких испытаниях войны, послужило началом переворота во взглядах на значение правительства и отношение господствующих классов к низшим. Теперь же люди, которые отдают себя народу в борьбе с высшими классами и с правительством, все эти студенты, социалисты, революционеры и другие, которых презирал я до сих пор с высоты своей начитанности Кантом и другими философами я с которыми слепо боролся в Университете, когда выступал в нем против студенческого движения, они то и стали казаться мне знающими тайну жизни и вместе с тем — теми сильными и смелыми людьми, которым принадлежит будущее в жизни. Не у них ли и я должен смиренно учиться жить. Эта мысль стала понемногу все чаще и чаще тревожить сознание, и уже с завистью начинал я смотреть на них. В том, что к этим первым, простым и чистым чувствам вины моей перед трудящимся людом, сразу же примешались и мысли как бы о себе, мечты посредством отдачи себя этим чувствам разбить тоскливые стены своей скучной, буржуазной, как это тогда называлось, жизни, в этом я еще не вижу ничего худого. Потому что сама по себе тоска эта среди пошлости, она - порыв бессмертного духа к Бессмертному, недовольство его узкими и тесными рамками, в которые затерт он здесь. Но так как веры то в дух и в Вечное у меня как раз и не было, — то и мог мой порыв превратиться только в новую игру, в попытку хоть чем-нибудь поразнообразить свое скучное и бессмысленное топтанье на одном месте, и не больше. Такой бы игрой, конечно, и оказалось мое участие в рево-

люции, игрой последними, еще оставшимися во мне нетронутыми, чистыми и свежими чувствами. Слишком уж испорчен был я своим неверием в Бога. «Человеком с зеркалом» был я, как я и назвал себя тогда однажды сам, в одном написанном мною рассказе, — человеком, которого всюду преследовало его зеркало. В нем он видит все, что делает и всем, что делает, любит, хотя делает пакость, но ради этого самолюбования, ради игры и предпринимает все, что делает, ибо ничего, кроме себя и себя такого, каким хочет казаться другим людям, не знает и не знает выхода из своего ограниченного этими зеркалами замка...

Но «выход был и был бодрствовавший надо мной, был Вечно-бодрствующий над всеми нами, Знающий, в чем мы имеем нужду прежде нашего прощения к Нему и не желающий смерти грешнику, даже и такому, как я... В это время я встретился с человеком, которому и суждено было вывести меня из тьмы на путь к Свету, к Нему.

Человек этот была сестра Маша*.

2.

Страшно говорить мне об этом сейчас, страшно писать. Боюсь хоть малейшим нечистым словом унижить Того, Чей Свет был с нею, и приписать хоть что-нибудь из Его Света себе или даже ей, смешав человеческое с Безначальным, и страшно дать повод другим перетолковать то, что хочу рассказать, в иную от Света сторону, затемнив в них виденье действительности... Но с Божьим благословением приступлю к тому, на что решился...

Я встретился с ней в первый раз на одной из общественных демонстраций по поводу Цусимы в Павловском вокзале. Она только что вернулась с войны, где была сестрой милосердия. И уж по одним рассказам о ней, которые слышал, должно мне было стать стыдно за себя перед ней, стыдно того, что в то время как я — старший ее по летам — прожил эти годы самым пустым и бесплодным образом так, что, и ужас войны и подымавшаяся волна народного горя и возмущения, как мне казалось, оставляли меня в стороне, как ненужного им и пустого безучастника их, — она, еще совсем юная, нежная и слабая телом, по рассказам о ней, была на самой войне, там несла какое-то нужное людям дело, помогала раненым, насилая себя, преодолевая себя, — а когда пришлось ее увидеть, увидеть весь ее нежный, хрупкий облик, то это становилось особенно чувствительным и укоряющим тебя, — пережила весь ужас отступления армии, а теперь, вернувшись оттуда, сгорала таким огнем жажды жить, отдать себя всю людям, что ни минуты не сидела покойной, на все вралась и всех других, кто ее видел, умела заражать своей жизнью. Но было в ней и кроме этого еще то, что в первый же день моей встречи с нею определило из одной части всю дальнейшую мою жизнь. Была она одарена Богом такой наружной еще невиданной мною красотой плоти, что меня, как человека в то время плотского, должно было это особенно поразить. Был же я в то время, как я уже говорил, человеком, не верующим в Бога, а одна из черт неверия в Бога есть та, что на все он смотрит плотскими очами, т. е. не видит за плотью духа и тем самым будит в себе плотские, а при виде красоты женской и страстные, хотя бы и очень тонкие, движения, и вот думаю: — и нужно было мне, человеку смрадному, плотскому, чтобы Бог, возжелав спасти меня и зная мое рабство плоти, послал мне навстречу девушку той дивной неземной красоты плоти, чтобы уже в самой плоти, в красоте ее почувствовал я всемогущество Того, Кто за ней, и Ему бы через это поклонился. И вот рядом со всем жгучим стыдом перед тем духовным, что было в ней, с самого

* Конечно, «сестра по духу», а на самом деле посторонняя ему девушка Мария Добролюбова, сестра поэта-символиста Александра Мих. Добролюбова, дочь генерала Добролюбова, из дворянской семьи. Ал-др Добролюбов автор «Из книги невидимой». (Примечание Б. Райкова).

же первого дня встречи с ней стал я ощущать в себе еще новую для меня, неясную и сладостную и мучительную борьбу. Не смел плотскими глазами глядеть на нее, ненужной, лишней и нечистой чувствовал самую плоть свою перед ней и боялся каждого движения в ней, и каждый раз, когда ловил себя на том, что вижу ее, вижу всю ослепительную красоту ее лица, вижу мучительную складку губ ее, улыбку какой-то приветливой жалости ко всем и еще больше ее глубокие, темные, огромные и строгие глаза, каждый раз чувствовал себя таким нечистым перед ней, недостойным ее видеть и быть возле нее, что даже слезы навертывались у меня на глаза от этого сознания.

Но мог я встретиться с ней в первый раз и не в этом году, а много раньше, и тогда не случай, а нечто больше: мое нежелание или грех — не допустили этого. Тогда, года за три или четыре до этого, среди самого разгара схода и моей борьбы со студенческим движением*, когда я был весь и весьма честолюбиво увлечен им, ко мне подошел раз один товарищ по курсу и вдруг рассказал о своих двоюродных сестрах, и что-то такое тихое и таинственное, совсем непохожее на все то, что я делал до сих пор и что знал, какое-то глубокое страдание, какой-то сладостный покой вдруг почудились мне в его словах, что я ясно почувствовал: это-то и есть то, что мне нужно, это-то и есть то, что меня ждет, и что если я пойду туда, то там и останусь навеки, там и найду свой конец. Но я испугался. Студент звал меня к ним настойчиво, говоря, что встреча с девушками будет мне нужна, чтобы я только попробовал. Но я отказался, что-то проговорил в ответ, что теперь мне не время, кажется, так прямо и сказал, что не хочу теперь отвлекаться от тою, чем занят. Сознательно предпочел вечности игру, которая бурлила кругом и уже обольщала меня своими обманчивыми огнями. Помню и грустный взор студента, услышавшего от меня такой ответ. А после уж было мне поздно. Целых три года прошло с тех пор и самых ужасных, самых гадких во всей моей жизни... Тогда я был еще сравнительно чист, не знал женщин, не печатался еще...

Но теперь наши встречи не прекратились. Была какая-то стремительность в ней, в обращении ее с людьми, жажда скорее проникнуть в каждого другого человека, узнать его, подойти к нему — и уже вскоре после первой же встречи она сама пришла ко мне, занесла книгу, но не застала меня. Я жил тогда один в дешевых номерах. Потом и я также был у нее, хотя тоже не застал. Наконец случилось мне однажды провожать ее из дому, где мы встречались.

Мы вышли из дома втроем. Она шла посреди нас, и я, рядом с ней, возле всего хрупкого и нежного, как цветок надломленный, существа ее, радуясь ощущению этой нежности возле себя и не смея коснуться и края пелеринки ее и робея, как и что сказать ей, чтобы не оказаться грубым перед ней, надумал попросить ее рассказать мне о войне. Сам не знаю, почему именно об этом спросил я ее, больше всего хотелось показать ей что-то и в себе глубокое или хотелось этим скрыть свою робость перед ней. Она, удивленно, точно очнувшись, вскинула на меня своим глубоким, даже и в самые скорбные минуты не терявшим высшего покоя взором и немного растерялась. Но мне почудился укор и боль в этой ее растерянности и даже жалость, что я что-то прекрасное в ее мыслях обо мне нарушил.

- Что ж об этом рассказывать? Я не знаю. Да и нужно ли? - Произнесла она нерешительно и быстро опустила взор, во что-то углубляясь в

* Леонид Семенов был моим товарищем по университету. Тогда в 1902—3 г. мы были на разных полусах. Я был «левым студентом», радикалом-революционером, он был в числе «правых студентов», наших идейных соперников. Мы оба были в университете старостами (в 1902 г.). Не раз мне приходилось спорить с Леонидом на сходках. Помню, меня и др<угих> товарищей страшно удивило, что Леонид позднее вдруг переменял свои убеждения и примкнул к социал-демократам, как он потом сам рассказывает (*Примечание Б. Райкова*).

себе. Потом, ничего не сказав больше, простилась. Но точно огнем сожгла меня этим. Я даже испугался за то, что сделал. Ужели я такой. Ужели таким буду всегда, шептал я уже в ту ночь, отходя от нее. Вдруг стала понятной мне вся мерзость моя, вся мерзость игры моей такими вещами, как горе и страдание других, мерзость, которая сказалась в моем вопросе. Нет, хочу, могу и стану лучше, хоть ради нее да стану, хоть покажу ей, что я не совсем уж так плох, как она могла сейчас подумать. Затеялась слабая решимость стать лучше, чище было беспокойно. С таких малых и детских ступеней начиналось мое пробуждение, но и это уже был Свет.

А она не оставляла. Образ ее стал томить. Хотелось медлить на нем, хранить его в сердце. И с ней если не лицом к лицу, то в разговорах о ней людей, среди которых вращался, я теперь встречался уже постоянно. Она волновала и всех как меня. Главное же в этом было, пожалуй, не слова ее и не поступки и не весь даже облик ее нежный и страстный в любви ко всем, а какое-то присущее ей, таинственное, не высказываемое словом, сосредоточенное в себе страдание или алкание, которое больше всего и отличало ее от всех. Но оно то и свидетельствует нам об истинной сущности человека внутри его и если есть в одном человеке, то будит ее же и в других. Это — та углубленность человека в себя или поглощенность его чем-то внутренним в себе, которые и делают его не видящим окружающее и не видящим себя в окружающих, в тех зеркалах, которые преследовали всюду меня та чистота человека и целомудрие духа, перед которым невольно удерживает свое дыхание нечистый. И страх суеверный, страх человека темного у не доступного ему и неизвестного испытывал я, когда ее видел, чувствовал каждое слово свое перед ней нечистым, но все-таки неудержимо влекая к ней болезненной сладостью ощущения ее боли за всех и ее красоты. И мог я уже догадываться по рассказам о ней, да и так прямо, просто видя ее что то, что делало ее такой, были какие то неведомые нам страдания ее еще в прежней ее жизни до встречи с нами и еще молитва. И так привычно было это слово вокруг ее имени и так шло ко всему ее облику, что скоро перестали мы и задумываться над ним. Сестра Маша молится, сестра Маша ходит на кладбище ходит пешком, слышал я и представлял ее себе на улицах, как раз встретил ее идущей на кладбище и что это значит, никто из нас не знал. И все-таки говорю, это и было несомненно то самое главное, что ощущалось всеми с самого же первого раза ее близости. Велик же и силен Всемогуший, и Свет Его был с ней.

По наружному еще ничего не переменилось в моей жизни. Решимость стать лучше, которая понемногу и сама собою возникла во мне к этому времени, а теперь окрылилась встречей с ней пока проявлялась только в попытках более строго огнестись к своему писательству. Оставил писать стихи о разных мигах, плясках и тому подобном которых стал так стыдиться при ее имени, что готов был даже вырвать их из только что напечатанного моего сборника стихов. Стал задумывать «настоящий» роман из общественной жизни. Торопился показать ей что-нибудь лучшее в себе, чем только то, что она до сих пор могла видеть во мне. И это уж было не только самолюбие, но и желание этим оказать любовь ей, ибо чувствовалось, как жаждет ее любовь к людям видеть в других лучшее, и хотелось ее радовать. И не я один, а и все, кто только видел ее, точно спешили показать ей в себе что-нибудь хорошее, чтобы этим порадовать ее. И все-таки, страшно сказать, как далек был я тогда от истинной жизни, что действительно ничего лучшего, чем только желание написать «общественный» роман, и не мог найти в себе для нее.

Потом некоторое время не встречался с ней. Начинал даже думать, что она в двух трех встречах с ней так и должна остаться для меня мимолетным виденьем и что больше я искать их не должен. Мирился с этим, потому что весь еще продолжал жить в той мерзости, из которой вырваться ни сил, ни надежд не имел. Как это все уживалось во мне, сам не знаю теперь, но так это еще было. Жил около девушки, к которой привязал себя своими постыдными и нелепыми мечтами, и хотя не смещивал их с тем новым, что

блеснуло мне во встрече с сестрой Машей, но и бросить их не мог. Два образа поселились в моей душе, и было это так, точно две комнаты раскрылись в моей душе раздельных и противоположных друг другу; когда страшно становилось в одной — кидался в другую, но и в другой долго медлить не мог, там страшно было Света, какой сиял в ней.

В конце июля встречи с сестрой Машей опять возобновились, и было что-то роковое в них, чего не искал, но и чему противиться не мог. Однажды собрались мы раздавать деньги, собранные в одной редакции на бастующих и голодающих рабочих. Должна была пойти и она с нами, но не пошла. И опять кольнула меня этим точно в самое больное место. Понял я, что не пошла она, потому что это только игра, почти что пустая наша забава... а не есть то, что могло бы ее удовлетворить... Она и сама так же объяснила это нам потом.

В августе то самое мерзкое в моей жизни, о чем говорил, вдруг оборвалось... Случилось это тоже без всякого моего желания, само собой. Поистине могу объяснить я это благой и вечно промышляющей о нас волей Божьей... но и говорить об этом много не стоит. Просто пришли другие люди и отрубили то, что и нужно было отрубить, мой больной и загнанный член. Еще было больно это, еще было страшно расстаться с ним, потому что и к боли своей привыкает человек и боится потерять ее... Но все же была и робкая радость первого освобождения... А пока что, боясь потерять ее, я поспешил уехать из Петербурга, думал отвлечься от старого и может быть основательнее подумать о том, что лучше. Но здесь уже и сам ухватился за то, что увидел в сестре Маше, как утопающий хватается за последнюю соломинку, ибо ничего лучшего, кроме нее, у меня не было. Но она была уже тут как тут. Следила за мной своим внимательным, глубоким взором. Радовалась, когда узнала, что я уезжаю, давала книги, чтобы я их «для нее» прочел, без слов, незримо, но ясно, всем существом своим ободряла и благословляла мое освобождение, которое, конечно, уж видела, как видела и в каждом малейшую перемену к лучшему, улыбалась мне, когда встречалась со мною глазами, но по-новому, радостно, свободно. Устанавливалась невидимая связь понимания друг друга — и я, не зная еще кому и как обязан этим, но уже окрылялся ею — и становился смелее и свободнее с нею.

Завязалась небольшая переписка.

— Сегодня познакомилась с одной старушкой, — писала она, — у ней два сына студента покончили с собой. Такие у них лица, простые, славные, зовущие за собой. — Небо у нас сегодня строгое, чистое, ясное...

Взглянула на него и стыдно стало за себя, за свою нечистоту...

— Хочется вам жизни нужной, как мне смерти нужной*.

Последние слова, когда прочел их, особенно ударились в сердце. Что значит нужная жизнь и нужная смерть. И страшно стало, что не знал этого. Еще показалось, что слова ее не простые, а как бы особенное повеление ее мне, надежда ее на меня, и жутко было того, что <то, что> у ней есть и не остается пустыми словами, это я знал и верил в это, у меня вдруг может оказаться только ими. Захотелось затаить их глубоко про себя в сердце, хранить их и никому не показывать пока до времени, и беспокойно еще было слышать от нее о смерти... что это значит. Ужели.

В конце сентября я вернулся в Петербург. Теперь уж мы были друзья-

* Это очень типично для молодежи начала XX в., особенно в эпоху русско-японской войны. Моя сестра Катя, в которую одно время был влюблен Леонид (до Маши), тоже хотела «красивой смерти» и два раза покушалась на самоубийство, но ее удавалось спасти. У Кати были отношения с ее женихом, моим товарищем по университету и гимназии Святославом Исаевым (сыном профессора-экономиста А. А. Исаева), очень похожие на отношения Леонида к Маше. Незадолго до свадьбы он застрелился, считая себя «недостойным» сестры, а она отравилась стрихнином, но ее спас доктор Мокиевский, врач Высш. бестужевских курсов (*Примечание Б. Райкова*).

ми. Моя первая робость перед ней прошла. И хотя ничего не выделяло меня из окружавших ее людей и ничем не выделила она меня из них, но не терпела она, чтобы кто-нибудь считал себя ниже ее и ни перед кем не оставалась в долгу. Что рассказывал я ей о себе, то спешила и она рассказать о себе, и как я никому никогда еще не рассказывал так полно себя, как теперь ей, так и мне никогда еще <никто — З. М.> не рассказывал так просто все о себе, как теперь она ... Даже когда и о смраде своем гнойном я — нечистый и мерзкий — решился тревожить ее слух, сам чувствуя, что обливаю ее этим, как помоями, даже и тогда — хотя и не дослушивая меня и нетерпеливо перебивая меня, — как должно было ей быть гадко это слушать — даже и тогда нашла она в себе какую-то тень, подобие того, о чем я говорил, чтобы рассказать это мне о себе и показать этим, что ничего особенного в этом в сущности и нет, что она знает это, как все люди, и что она не лучше меня и всех, а смертная, как и все смертные, плотяные...

Раз в вагоне в поезде с ранеными ходила она на цыпочках всю ночь около одного доктора и не спала, боясь разбудить его, уставшего от тяжелого дня, но взглядывая на него, чувствовала такую непреодолимую жалость к нему и жажду его одного убаюкать, приласкать и поцеловать, что сама вдруг смуглилась тем, что заметила в себе, — испугалась тому, чем и раньше уже другие дразнили ее по ее рассказам из-за него. Но я вышла на площадку, там долго стояла на ветру, думала... а потом вошла в вагон и все сразу вырвала в себе, взглянула на него и больше не было ничего; — кончила она свой коротенький и стыдливый рассказ, потом еще прибавила: решила, что этого не должно быть во мне. Вот и все. И еще продолжала быстро и отрывисто, как бы объясняя что-то недоговоренное о себе, чтобы окончательно все выяснить мне, чтобы не оставалось у меня больше уже никаких сомнений об этом - Я дала такой вроде обет... давно, уж в институте знала это. Другим это, еще, может быть, нужно. А мне нет, должна прожить так... И замолчала. И был я как в огне от слов, что «ничего в этом в сущности особенного нет». А я-то еще гордился этим, осмеливался рассказывать ей об этом так, точно она этого не знает, как о чем-то важном, пережитом мною, что не всеми переживается. Играл своею мерзостью. Так спасла она меня, отдавая всю себя мне, все существо свое, всю душу, но так спасала она и всех, ибо, чтобы спасти кого-нибудь, надо отдать не часть себя, а всю. Нашел я после в ее записках ее слова.

А кругом кипело то, что казалось нам всем жизнью. Агитация, сходки, великая забастовка, 17-е октября. Я примкнул к с.-д. Она была в рядах с.-р. Но разве это было важно. Не учения, а люди и их подвиг был нужен ей. Все, что есть высокого, чистого в них. Это захватывало, умиляло. Об этом не умолкала; могла плакать и о собачке Орлике. И я был всюду возле нее. Слышал ее порывистую страстную речь, видел сияющий взор, чувствовал все преисполненное жизнью, захлебывавшееся всеми сердце ее... Мог учиться у нее. Только в ноябре немного очнулся.

Но и в самые бурные дни умела она не терять себя и находить то другое в себе, что отличало ее ото всех.

Однажды заговорила о себе — и тихо стало кругом. Что окружало нас, точно исчезло. Нас было двое. Она стояла передо мною в одном конце ее большой комнаты на Васильевском, где она жила; я, как окованный, сидел в низком, мягком кресле около ее письменного стола, на котором каждая вещь мне казалась таинственной и значительной от ее прикосновений к ней, и вот то глубокое страдание, тот сладостный покой, которые почувдились мне однажды в первой вести о ней, в словах того ровного и мягкого студента, рассказавшего мне впервые о ней в коридорах университета, вдруг подступили опять, но теперь уже так близко, точно наяву, как сама действительность, — она заговорила о своей смерти. И так твердо, уверенно, упоенно, просто заговорила о ней, точно это было живое лицо, с которым она обручилась, которого только и ждет, который только и есть ее единственный истинный возлюбленный и жених. Говорила про себя, что скоро умрет,

что она это знает, и что только этого и жаждет, и было это так, точно ангел невидимый, ее Друг и Жених сам коснулся ее крылом Своим, чтобы показать мне, кого она избраница и как нечисты еще и мерзки все наши смертные мысли и чувства к ней. И опять нечистым и низринутым и отторгнутым от нее вдруг увидел себя в этот миг, потому что почувствовал в себе какую-то даже вовсе низкую боль ревности при мысли, что она избрала кого-то, и сам ужаснулся этому в себе. Но она заговорила и о тех, кого любит на земле, и о том, как жаль ей их оставить, причинив своею смертью им боль. Потом подошла к столу и тут же возле меня нагнувшись, точно и меня желая овеять прощальной любовью и лаской, показала мне бумажку, которую держала в руках, и, не выпуская из рук, дала прочесть, что было на ней, но стыдливо и робко, как девочка — точно боясь еще, что я не пойму то, что прочту... Это было письмо ее давнишнее к одному покойному ее другу, которого и я немного знал. Там ровным и четким, строгим и мягким почерком было подписано ее имя с детски ясной и чистой прибавкой: «и любящая Вас Мария Д». В письме говорилось о Боге, о Христе, о молитве и опять о смерти. И понял я, что вижу то, чего не должен видеть, не смею.

Но к ноябрю месяцу еще невозможно было оставаться в Петербурге, слишком много пыла было в душе, пыла от нее, пыла от новой жизни, от всего, во что ввела она меня и что бурлило вокруг. И пыл не находил себе приложения в городе. Хотелось отдать себя делу, настоящему делу и подвигу. Боязнь была во мне, что если этого не сделаю сейчас, то и никогда этого не сделаю, и будет потеряно то, что так без меры много получил теперь от нее. К этому присоединялся и чистый взгляд на нее — казалось, что для того только и встретился с нею, чтобы возродиться. Но надо было скорее испытать это, доказать, что это так, жизнью, делом доказать это. Не смел любить ее одну. Сама любовь к ней требовала еще нового, еще большего от меня. Она — только ангел, посланный Кем-то Незнаемым на пути. Но теперь надо забыть и ее. Самому, самостоятельно так жить, как живет она для других и как жить учит всех, без слов, но учит...

Уже и встречи с ней становились мучительны. Еще писал я роман, но чувствовал, что это не то, к чему она зовет... Однажды заговорил с ней о другом человеке и сказал ей о нем что-то неясное, нехорошо, даже не то вовсе, что сам о нем думал, и она вдруг резко оборвала:

— Но он всегда во всем доходил до конца. А вы-то еще ни в чем не дошли...

Сказала это твердо, без снисхождения и ничем не пожелала смягчить себя.

Мне стало больно, колко.

— Но разве это неправда. Опять в самую больную, нудную рану попали ее слова.

Другой раз она зашла ко мне. Я был в мрачных мыслях. Захотелось открыть ей себя, рассказать о своей самой сокровенной муке, чтобы она поняла меня и пожалела. Прочел ей чудовишный и страшный рассказ свой о человеке с зеркалом, о человеке, которого всюду преследует его зеркало и который все, что ни делает, делает для того, чтобы полюбоваться собой в своем зеркале, ни уйти от него, ни разбить его он не имеет средств, — таким представлялся я сам себе. Как подавленная сидела она молча передо мной, закрыв лицо руками. Я испугался, что причинил ей слишком много боли собой, своей гадостью.

— Простите меня... Это я такой... Вам бы лучше вовсе забыть меня.

Но она встала.

— Нет, не вы... а я такая. Я нахожу, тут вся правда про меня написана.

Сказала решительно, просто, не допуская никаких возражений и с неистощимой мукой, точно подавляя что в груди, поторопилась уйти, только в дверях не забыла бросить на меня свой ласковый прощающий все взор.

Боже мой! Боже мой! Что же это я! — растерялся я, когда она вышла.

Хотелось кинуться ей вслед. Ей крикнуть, оказать, что если и она такая, если мы оба такие, то мы можем, должны стать другими и станем другими. Сказать ей, чтобы не отчаивалась вовсе... я первый покажу ей, что могу быть другим, покажу ей пример.

Еще раз я был у них. Она жила с братом и сестрой недалеко от меня*. Раньше бывал у ней каждый день, теперь реже. У них были гости. Она бродила между всеми и всем улыбалась своей мучительной улыбкой, иногда взглядывала и на меня наблюдательно, всепрощающе. Все — не то. Все — не то. Точно слышал я, как стучит ее сердце и говорил ее взор.

От меня так тяжело ей. Сверлила мысль. Хотел уйти. В передней столкнулись.

— Всем должно быть от меня тяжело, — заговорила она вдруг беспокойно. — Я чувствую, что всем от меня тяжело. Я такая, я нечистая, недостойная всего... Простите меня.

Но я уж больше так не мог. Через несколько дней я пришел к ней и сказал, что еду в Курскую губернию. Все уже готово у меня. И связи есть, и дело. Что оставаться в Петербурге я считаю для себя бессмысленным. В деревне, на местах среди народа, чувствую, могу принести хоть какую-нибудь пользу людям. Там каждый образованный может быть нужен. Из Курской губернии приходили вести о сильном крестьянском движении, я еду в самый разгар его. Запасся уже корреспондентскими билетами от двух столичных газет, отчасти для видимости, но и для того, что работу в газетах тоже думаю не оставлять. Неважны программы, партии, а нужен человек. Связи я имею с крестьянским союзом. Его и буду держать.

Как молния заставило ее что-то содрогнуться в моих словах. Она встала, прошлась взволнованно по комнате, потом села в угол, закрыв лицо руками, точно как-то особенно сосредоточенно побывала в себе, и опять, быстро оправившись, улыбнулась мне и свободная, ободряющая меня, не могла уж оставаться в комнате, а предложила мне с нею выйти на улицу, пройтись с нею куда-нибудь далеко, далеко, как мы и раньше ходили с нею, когда все открывали про себя друг другу. Пошли к священнику Григорию Петрову, жившему на Петербургской стороне и которого она давно уже и близко знала. На улице опять повторил ей про себя, что уже сказал — и она прерывисто, быстро как всегда, стала рассказывать о себе. Оказалось, что и у нее такие же мысли, как и у меня. И она вот-вот должна получить место в Тульской губернии — сельской учительницы и заведующей продовольственным пунктом и столовой для голодающих. Там был голод в этом году. Она только скрывала это от меня, как и я свое от нее. Все мысли были одни. Не успевали сказать все друг другу. Перебивали, без слов понимали. Все опять ликовало и пело кругом.

Противиться нашему пылу было невозможно, хотя и не у меня одного сжималась сердце о ней, куда она, такая нежная, хрупкая, как стебелек цветка, поедет одна в деревню в эту пору. Но она ведь уже ездила на войну. С ней ее Бог. Так можно ли нам ее удерживать. Как решено было, так и сделано. Только вырваться ей от родных, из Петербурга было труднее, чем мне, и она уехала месяцем позже меня. На прощанье подарила мне две радости — взяла от меня на всякий случай лишние мои деньги для себя и для других, кому могут они понадобиться, и вручила мне на память записную книжку с заветною надписью. Долго в тот вечер волновалась раньше, чем написать ее, уходила, оставалась одна, потом быстро внесла ее в книжку и отдала мне.

3.

В Курской губернии меня скоро арестовали, да и был я, конечно, во всем неопытен и на то дело, за которое брался, едва ли годен. Сам не зная

* Братом Александром Добролюбовым, поэтом, который потом решил «опроститься Христа ради» и ушел из дому странствовать. (Примечание Б. Райкова).

хорошенько, зачем, как — это часто, наверное, не знают и многие молодые-люди, как я в то время, да и во все другие времена на земле, — но с решимостью ни перед чем не останавливаясь, хотя бы это была и смерть, с жутким чувством погружался в неизвестные мне деревни и села, засыпанные снегом, собирал сходы, говорил речи, потом прятался по неведомым мне мельницам и хуторкам от преследовавшего меня отряда стражников. На сходках толковали о Государственной Думе, о земле, сражался иногда со священниками и помещиками и призывал крестьян подавать голоса в Думу не за них, увещевал их в то же время и от погромов. При аресте не обошлось, конечно, и без всего воинственного, свойственного таким минутам. Исправнику на допросе заявил, что не стану отвечать врагу народа, так и написал на предложенном мне листе. В тюрьме, в одиночке то же самое. Крутом «враги народа», которым нужно показать, как истинный революционер не сдастся им, не уступает ни в чем, протесты, требования, возмущения. Завязывается каким-то образом переписка с волей, кто-то предлагает мне свою помощь, если вздумая бежать. Я хватаюсь за эту мысль. Зреют дикие, фантастические планы. Но по неосторожности своей я был обыскан, попало и мое тайно заготовленное письмо на волю, и все рухнуло, тем дело и кончилось. Наконец мало по малу стал оглядываться на себя, успокаиваться. В тюрьме же оказалось совсем уж не так плохо, как могло это мне казаться раньше. Здесь я получил по крайней мере впервые свободу побыть одному и разобраться во всем, что было пережито и видно мною. Теперь все мысли вернулись прежде всего к сестре Маше и сосредоточились на ней. Она была всюду со мной — и в полях, и в деревнях, и на сходках, она ободряла и наставляла, и, сомневаясь во всем, в одном я не мог сомневаться, что та любовь ко всем, которую видел в ней, которой пылала и которой готова была все свое принести в жертву, — прекрасна, нужна и свята, что она есть единственное нужное, святое и главное на земле, что я знаю. За нее держаться — вот и вся моя решимость и вера в это время. И ее же слова, записанные ею в книжку, подаренную мне ею, когда расставались, оказались самыми важными и нужными для меня. «Думайте о сейчасном. Завтрашний день сам о себе позаботится. Довольно со дня его заботы», — говорили они мне каждый день, и действительно только так и можно было поддерживать себя в равновесии здесь. Потом сестра Маша стала отступать понемногу на второй план. Переписка в тюрьме была затруднена, а когда она вскоре уехала из Петербурга в Тулу, — и вовсе прекратилась между нами. Но оторванный от нее, я стал с радостью замечать, что я — не раб ее, что я свободен — а ведь про это-то и боялся одно время, что этого не будет. Увидел, что есть и другие люди кроме нее и что я и без нее могу чувствовать в себе тот же светлый подъем силы, который чувствовал в ней. При этом и забвения ее не было, а легко и радостно было именно то: знать, что и она где-то далеко от меня, такая же свободная, как и я, служит одному и тому же делу любви, делу света, любви в людях, которому решила служить, которому она всегда служила и которому никогда не изменит. Не хотелось даже и новых встреч с нею. Старательно, волей отгонялась мысль о них, так горячо хотелось остаться чистым к ней навеки. А это-то и есть уже чистая любовь, сознание полного единения людей друг с другом, без встреч, без искания их, без необходимости в них. Достаточно было и того, что я ее раз видел. И этого-то ведь я был недостоин, конечно, и эта чистота подвергалась некоторым искушениям, без которых ни один человек не живет, но все же они легко побеждались. Зато и совсем новая жизнь приблизилась тут. Люди, которых я увидел кроме нее, были, во-первых, мои родные по плоти. Последние годы я жил отдельно от них, вовсе далекий и чуждый им, но теперь мои обстоятельства, мой арест и мои поступки естественно вызвали в них внимание ко мне и участие, которого я раньше не видел. Уже незадолго до моего отъезда из Петербурга ко мне пришел раз мой брат, встревоженный моими намерениями, и вдруг разрыдался, уговаривая меня оставить их. Теперь же их теплые письма и приезд ко мне в острог того же брата, участие к ним сестры Маши, написавшей

мне о них и о том, как она сама первая уведомила их о моем аресте — пробудили настоящие, горячие, давно уснувшие чувства детской жалости ко всем, примирения со всеми, благодарения и укорения себя и слезы — и начинало сердце понемногу раскрываться в одиночестве доверием к людям, создавалась в нем размягченная почва для новых и лучших семян в будущем.

Потом и те люди, которые окружали меня тут на первых порах, — мои тюремщики, оказались уж вовсе не такими страшными врагами, какими представлял я их себе раньше. Наоборот, в них-то и увидел я прежде всего и действительно увидел здесь всю страшную, постыдную жизнь земли, жизнь ради ничтожного куска хлеба — без искры радости, Света — и страшно мне было глядеть в их потускневшие, запуганные глаза, всем недо-вольные и явно сочувствовавшие моим вольным речам и колотившие меня укором в том, что даже и в тюрьме я во много раз счастливее их, потому что в ней только гость случайный... в одну из таких светлых минут прилива чистых чувств к ним случилось у меня даже стихотворение, которое и доселе кажется мне чистым, и потому помещаю его здесь.

О, мой брат, мой запуганный брат.
Подойди и не бойся меня,
В моем сердце лучи золотые горят,
Никого не вина, не кляня.
Я — как ты, кто родил меня, звал.
Кто ласкал меня осенью поздней.
Кто учил, наставлял
И берег от лихих и их козней.
Я как ты, о мой брат,
Мой запуганный брат...

Потом тюрьма оказалась переполненной «забастовщиками», т. е. крестьянами, участвовавшими в погромах. Тот самый народ, которому хотели мы служить, окружал меня тут, и я мог его видеть лицом к лицу, наблюдать и определить свои отношения к нему — более или менее свободно в первый раз в жизни. Это и было, пожалуй, самым значительным, что пережил я за этот раз в тюрьме, и самым главным в этом было не то, что я стал здесь действительно узнавать жизнь народа и слышать о ней из его собственных уст, а то, что, попав в равные с ним условия, оказавшись запертым с ним в четырех стенах и зависящим так же, как и он, от таинственных и враждебных для нас распоряжений начальства, в руках которого оказалась наша судьба, мог я в первый раз в жизни погрузиться в заботы и мысли других людей, людей рядом с тобой и в них терять себя и забывать свое. И какое это было радостное, восторженное время, время первого моего воскресенья. Началось с того, что уже одно мое появление в остроге вызвало с их стороны самое напряженное внимание — я был ведь первый политический здесь, — а мое свободное и безбоязненное обращение с начальством на тюремном дворе приобрело сразу же горячее сочувствие всех обитателей острога. Как-то раз, увидев и возмущившись тем, что их заставляют по полчаса и больше стоять без шапок на морозе на дворе, пока прогуливается на нем начальник тюрьмы, я после команды надзирателя — шапки долой, громко крикнул в форточку своего окна, при наступившей внезапно тишине: шапки надень! Произошло всеобщее замешательство, послышался смех, кое-кто надел шапки, а начальник тюрьмы, смутившись, ушел в контору и потребовал меня туда, но, к моему удивлению, оказался вполне мягким человеком, и, вняв моим объяснениям, не только ничего не предпринял против меня, но даже и упразднил эту команду вскоре же после этого случая, а я с того же дня стал получать от заключенных письма — тайные, писанные карандашом на курительной бумаге, сначала с выражениями сочувствия мне, потом с просьбами, вопросами и рассказами о себе, сначала из одной камеры забастовщиков, потом и из других. Времени отве-

чать на них было много. Бумага для ответов и указания, как передавать их незаметно от надзирателей, — присылались предупредительно тут же. Так завязалась, а потом и разрослась целая огромная переписка, и чем дальше, тем все более и более глубокая и завлекательная для меня. О чем, о чем только не писалось тут ими и мной. Вечера были зимние, острожные, было о чем написать. Вся душа народа, простая и темная, испуганная и доверчивая, казалось мне, была тут. Спрашивали сначала, да можно ли им на что надеяться, да куда их угонят, да вот слух прошел, что соберется Дума и даст всем земли, а их тогда выпустят. Просили, чтобы написал я им просьбу прокурору или жалобу на кровопивцу-следователя. Потом рассказывали мне на мои просьбы все прямо и просто о себе, о своем хозяйстве, о своих делишках, о податях, о господах, о том, как погром был. Прошел слух, берите, мол, на Михайлов день все барское, ничего за это никому не будет. Все и пошли. Пьяные были все. Знаю, народ глупый, как стадо баранов. Никто ничего не помнит, кто сколько ташил, а кто дальше канавы и не унес, а тут и свалился, до утра лежал. Кто же полоче и потрезвее, тот уж в тот же вечер все натасканное продал и теперь чист, улик нет, а другие вот тут сидят. Один на другого теперь показывает, сам же брат наш сюда засаживает. И вставали передо мной по этим письмам разительные и страшные в своей правдивости картины всей темной растерянности их и беспомощности, невольно засевались и семена в душу сомнения во все то, чего наслышался в Петербурге и что вез оттуда в деревню, нахватавшись первых попавшихся громких и красивых фраз по готовым книжкам. Еще спрашивали о том откуда и как господа на земле появились. Этот вопрос особенно всех волновал, просили, чтобы объяснил я им его подробно и вразумительно, и есть ли это в тех книжках, которым я — образованный — учился. И чем дальше, тем больше спрашивали правда ли, что земля круглая и вокруг солнца ходит, и что такое луна и звезды. И правда ли это, что говорят, как помер человек, вышел из него дух и нет от него ничего, как от травы — одна прель. И чем дальше, тем все страшной и страшной было мне писать ответы на их вопросы, терялся уж сам, не зная, что писать, чувствовалось, как каждое мое слово падает глубоко в их души, и страшно поэтому становилось ответственности за них. Не смел уже писать легкомысленно, старался уже сам в каждом вопросе дать ответ себе и разобраться — что знаю и чего не знаю. И иногда казалось, что еще сам ничего не знаю. И вот, не знаю сам, как это случилось, но во всем, что ни говорил и ни писал я им, стал сызлаться я на Евангелие, ибо Оно одно давало покой духу и вере, что, если буду держаться его, или того, что понятно мне в Нем, то не нарушу тех строгих и жутких для меня требований к себе, которые стал чувствовать, когда ощутил живую связь свою с другими людьми — связь любви и веры друг в друга, какая заключалась здесь между нами. А так и сам стал понемногу входить в прямой и простой Смысл вечных Истин Христа, стал запоминать их и даже против своей воли кое-что новое понимать в них и любить. Особенно помню: в это время стал как то неожиданно открываться мне даже и таинственный смысл заветов Христа за тайной вечерей. Странно это, но это было действительно так, хотя и был я тогда вовсе неверующий в Бога. Но так чудны и непостижимы дела Господни, что даже и неверующих, раньше чем они достигли Его, достигает Он их. И сестра Маша была в этом опять со мной. Ведь и она не забывала никогда говорить о Христе. Христом благословляла меня, отпуская в народ, даже в письмах часто подписывалась — зумы и сладко для меня, как мать: Христос с вами.

К концу зимы тюрьма переполнилась, и за недостатком места стали и в одиночки сажать по двое и даже более заключенных. Одного, огромного ростом, светлого, чистого и немолодого уже крестьянина посадили и со мной. Целый месяц с ним вдвоем с глазу на глаз, с утра до вечера. Сколько разговоров, сколько бесед с ним. Он — брат мой. Какое это чудное, сладостное и гордое чувство, впервые открывшееся мне здесь, в этой камере острога за всю мою жизнь. Это был настоящий медовый месяц любви моей.

Не знаю, как иначе назвать это. Потом весна. Народу все прибывало и прибывало, невозможно уже было держать нас по двое, стали сажать нас в кучки и выпускать чуть ли не на целый день на двор, за недостатком воздуха в камерах... Уже не нужно было тайных бумажек, виделись и говорили теперь все друг другу лицом к лицу. Наконец, в начале мая, когда собралась первая Дума, меня выпустили, а вскоре после меня выпустили и всех других, — кого на поруки, кого под залог. Я с новыми мыслями и надеждами полетел бодрый и радостный в Петербург. Но еще одно странное и таинственно сладостное чувство уносил я из Оскольского острога — и не мог понять, откуда оно и что оно значит, но точно было какое-то предчувствие... Когда" томился еще в остроге и бродил по двору, вдыхая воздух весны, и вглядывался в дрожащую даль весенних полей из решетчатых окон камеры, вдруг такая неудержимая жалость по всем далеким и близким людям и к себе иногда охватывала сердце и сжимала грудь, что невольно наворачивались слезы на глаза, все на миг исчезало кругом, как в тумане, и вот неведомо как слагался на устах неожиданный новый стих, которому я и не мог тогда придумать никакого объяснения и продолжения, но который часто шептал про себя и любил.

Еще я послушник. Из мира
Мне скоро, скоро уходить.
Уже не радует порфира
Весенних снов... Хочу любить...

Да, любить и любить всех как-то, неведомо мне еще как, полюбить всех. И еще роднее, еще ближе становились от этого все тихие, простые лица крестьян кругом, побледневшие и похудевшие в остроге и далекие милые друзья и братья и сестры, которые ждут меня в Петербурге и любят, теперь уж я знаю, что любят меня, и сестра Маша больше всех. Так приближалась незаметно настоящая жизнь.

4.

А в Петербурге первой, о ком услышал, была опять сестра Маша, и в то же утро я уже шел с нею рядом по светлым, весенним улицам Петербурга. Она тоже только что вернулась из деревни и была, как и я, преисполнена всем, что видела, слышала там, и весной, которая окружала нас здесь. О смерти своей уже не заикалась в эту встречу со мной. Но какими же славами рассказать мне теперь о ней и о том, как виделись. Не чувствовал ног под собой и земли, когда шел с нейazole, каждым дыханием своим готов был предупредить малейшую мысль ее и малейшее движение и в то же время был свободен, заслужил радость быть с ней и видеть ее, и это знала и чувствовала она, и я видел, что это она знает и видит во мне. Как встретился, так готов был и каждую минуту расстаться с ней, ничего не искал себе от нее, — не себе уж служили мы, а Кому-то Другому, хотя и не знал я Его... Был, как и она, уже думал я, и был такой гордый, счастливый.

Но очнуться и оглянуться на себя было уже некогда. Кругом опять сходки, митинги, газеты, первая дума, крестьянский союз, трудовая группа... Попал даже на один тайный революционный съезд в Гельсингфорсе. Мысль была одна: работать как серый рядовой работник в рядах партии за народ. Тело под этим беспокойное, тайное сомнение, вынесенное из острога, что тут что-то еще не совсем то, что было нужно, иногда даже казалось, что я даже что-то больше знаю, чем другие и чем вожди, но эта мысль казалась гордой, тщеславной, а главное было страшно сомневаться, боялся копаться в себе, чтобы не лишиться того счастья, которое уже было со мной, которого уже достиг. А оно было в сестре Маше, было в том, что я был с ней и считал себя заслужившим это. Не сознавался себе в этом, но это было все-таки так. Так страшно враг подменивал и тут истину,

которой мы оба искали, ложью, и претворялся перед нами в Ангела света — в ту мою, казавшуюся и мне и сестре Маше чистой, — любовь к ней, но любовь, в которую вкралась уже гордыня. А время летело, и не было дня, чтобы мы не виделись. Деньги стали общими. В мгновенных встречах на улицах, среди всех дел, среди суеты, успевали мы, как мне казалось, все сказать друг другу, ободрить и проверить себя. Иногда целые ночи напролет бродили взад и вперед по улицам и все говорили друг с другом. Раз, помню, я рассказывал ей что-то о себе, о Старом Осколе, и вдруг увидел у ней на глазах слезы, она сияла радостью, смущенно, скромно, с любовью ко мне.

— Марья Михайловна, что с вами, — удивился я.

— Ничего, это так. — Устыдилась она и потом призналась: А все-таки радостно, что есть, есть хорошие люди на земле, и много хороших.

Но Боже мой! Как хотел бы я уничтожиться и стигнуть в этот миг, так недостойным и ничтожным почувствовал я себя перед тем, что услышал от нее.

— Разве уж что-нибудь есть во мне хорошее, а она находит это во мне ...

И все-таки в глубине души верил, что это так, что уже достиг.

Другой раз восторженно, захлебываясь и просто, как всегда, говорила она своей подруге, друзьям и мне:

— А я верю... А я верю, что Орлик и Ледька (собачки) и все животные, даже деревья и трава и мы все, даже все будем вместе... Почему же животные должны тут страдать и никакой потом радости так и не увидеть. Нет и нет, а по-моему нет. Ведь и они же тут страдают, даже еще больше людей. По-моему, я верю, мы все должны увидеться.

Ничего не понимал я рассудком, что она говорила, но всем сердцем, всем нутром своего существа вдруг представлял себе ясно, что это так, что это должно быть так, что это иначе и не может быть, и навеки запомнил, что слышал ...

В июне мы уж не могли больше оставаться в Петербурге и прямо говорили об этом друг другу. Согласились ехать опять туда же, где были, я — в Курскую, а она — в Тульскую губернию. Только выехали теперь из Петербурга вместе. Теперь уж не могло быть это иначе. Готовились к чему-то решительному, грозному. Это знали. Хоть и бодры были, но знали: на пути, на который стали, должны были идти до конца... Но хоть последние дни перед разлукой побыть в Москве немного вместе вдвоем за делами, это могли мы друг другу позволить. Об этом думали. Кроме того, выезд ее со мной придавал немного опоры ей в глазах друзей и сестры, которые за нее беспокоились, на мою рассудительность полагались. Наставали последние дни и дни расплаты моей за мои грехи.

Весело и радостно это было в начале. Нас провожали друзья и ее подруги. Ей дарили цветы и конфеты. Но я ничего не видел. Сидел в вагоне у вещей, пока поезд еще не тронулся, но не видел даже и ее, когда она вошла. Все существо ее, незримое, наполняло вагон, наполняло все, и это была любовь. Не смел глядеть на нее и только, может быть, раз или два взглянул на нее и видел ее всю сияющую в ореоле жизни и свободы и до сих пор ее помню такой перед собой с неудержимой улыбкой всепонимающей любви и ласки ко мне. Не смелдохнуть, не смел иметь своих мыслей при ней... Уступать, отдавать, не знать себя, исчезать в другом — какое блаженство.

Когда поезд тронулся, она долго стояла у раскрытого окна и что-то пела восторженно навстречу ветру. Потом села. В вагоне было тесно. Завелись разговоры. С нами рядом ехали жандармы, она точно не видела их. Завязался спор с пассажирами. Она, увлеченная, стремительная, как всегда, быстро овладела слушающими. А в передышках, украдкой взглядывала на меня и сама улыбалась мне своей страстности. Потом раскрыла вдруг свой сундучок у ног, полный брошюр и книг, которые везла в деревню, чтобы что-то прочесть оттуда другим ...

— Марья Михайловна, что вы... — Я испугался и со страхом мотнул головой в сторону жандармов, загородив ее от них. Но она не, смутилась, а, спохватившись, засмеялась своим тихим, грудным смехом, точно не веря, чтобы кто-нибудь мог не устоять перед ее правдой, да не верил и я в это, взглянув на нее опять. Но видя мою настойчивость, нагнулась ко мне и помогла мне запереть свои книжки.

Ночью кто-то выпил в вагоне, подсел пьяненький к ней. Она и с ним говорила убежденно, страстно и терпеливо подробно, как всегда, о вреде вина и о грехе, который есть от него... как топчет человек образ Божий в себе и превращается в животное. Я пытался ее уговорить лечь спать. Сам устроился и притворился спящим, думал, и она понемногу успокоится, но она и не думала. Так и не дождался, когда она ляжет, заснул. Утром вскочил, когда уж солнце было высоко. Но было еще рано; она спала, согнувшись кое-как и подставив под ноги себе свой сундучок, но недолго. Очнулась тоже, опять бодрая и веселая, как и вчера.

В Москве мы разошлись. У каждого были свои дела, свои «явки». Но сходились на моей квартире. Наконец все кончено. Настал и последний день. Я должен был ехать вперед. Она после меня. Но она удерживала. Еще день. Сама позволяла это, даже просила, чтобы отложил я отъезд и с каким-то уже беспокойством, удивившим меня. Господи! Вся сила, вся красота моей любви, так казалось мне, — была в том, что не смел я и думать об одном лишнем миге побыть с ней ради себя, что отказывался от всего. Теперь же, когда она сама просила меня побыть с ней, разрешала это мне, я растерялся. Но что-то манило меня в этом и льстило. Поехали в Петровское-Разумовское. Она предложила это, там была у ней знакомая квартира. Что-то хотела там мне одному без других открыть, побыть со мной ради любви ко мне — в первый и, может быть, последний раз в жизни. Так понимал я это и терялся. Не знал, что будет, и окажусь ли я достойным. Но когда ехал с ней рядом в трамвае, вдруг заметил в себе, что самая гадкая и низкая мысль ползет мне в голову, не чувства — этого благодарение Богу еще не было, — а мысль от неверия в Бога, от незнания того, что нужно. И знал, что она гадка, и ужаснулся тому, что она еще возможна во мне, но и не мог ее отогнать от себя. Страшно было с такими мыслями быть около нее, видеть ее. А ее взор был по-прежнему ясен и глубок, и строг и сиял неограниченной любовью и доверием и тем еще более мучил и жег меня. Вся жизнь, казалось, трепетала теперь на страшном острие — и моя, и ее. Приближалось, я знал, то, о чем мы еще никогда ничего не заикались друг другу. Но что. Что и не знал... и молчал, и молчать было страшно.

В Петровском долго ходили по парку. Она останавливалась иногда, что-то долго думала, устремляла глаза, блестящие влагой, к небу, то строгие, то ясные, иногда улыбка озаряла лицо и сияла любовью ко мне, но молчала и уж не смеялась как раньше. Молчал и я, боясь мешать ей, но все более и более далеким и отходящим от нее чувствовал себя из-за своей нечистоты и мучительно скрытой мысли, которую по-прежнему не мог отогнать и про которую по-прежнему знал, что она мерзка.

Потом на квартире нужно было побыть и с хозяйкой дачи, старушкой, и ее дочерью. Вечером в мезонине опять вдвоем. Нам отвели две комнаты. Теперь уже не мог долго оставаться с ней — так страшно было вдруг обнаружить перед ней свою нечистоту. А главное: не знал — для чего же другого и как мне быть с ней вместе вдвоем с глазу на глаз. Говорить о других мы умели друг с другом. Но теперь уже все это было переговорено нами, приближалось что-то иное, что касалось только нас одних, но что, что? И опять не знал ничего, кроме нечистого, и ничего кроме уже осужденного ею — я это помнил — не находил в себе. Она сидела долго на балконе. Смотрела в верхушки молодых березок. Я видел ее. Почти не глядел, но видел, видел все существо ее, видел лицо ее — видел ее черные зачесанные простым пробором волосы, видел весь страстно, с тоской устремленный куда-то в глубь себя облик ее и вот вдруг так

беспокойно и больно стало от того, что видел в ней, что готов был заплакать. Опять то недоступное для меня и недосыгаемо чистое, что всегда чувствовал к ней, что напрасно считал в последнее время достигнутым мною, но про что знал, что никогда еще ни с кем ни в себе одним, ни с ней причаститься ему не мог, это было теперь в ней, и не мог уж более оставаться тут — но робко, чтобы скрыть свою боль, сказал, что хочу идти на отдых, что устал. Она спокойно отпустила меня, с ласковой улыбкой, но сама осталась.

На другой день опять то же: гуляли по парку и по улицам Петровского. Где-то пили молоко. Говорили о другом и сами знали, что это уже не то. Потом опять со старушкой... Наконец вышли в поле... Она торопилась. Точно хотела еще сделать какую-то последнюю попытку побыть со мной, приблизить меня. Побежали через дуг прямо в лес, в березовую рощу. Но я уж не верил в себя. Шел как мертвый. Там бродила она между березками, ласкала их, прижималась к ним щекой. Потом сидела долго в траве... и я сидел перед ней, но грустный, страшный, боясь быть близко. Она опять смотрела на небо то строго, то ясно, иногда вдруг заглядывала на меня и таким теперь грустным, грустным и глубоким взором, что казалось мне — свет проходит и все гибнет. Шемило от него сердце и увлажнились глаза. Хотелось просто встать и подойти к ней, как брат к сестре, приласкать ее, поцеловать ее прямо в лоб. Но не смел, еще помнил свою нечистоту — и сидел неподвижно, как оцепеневший. Приближалась гроза. Забарабанил дождь кругом. Встали, побежали на дачу, ничего не сказав друг другу. Теперь вдыхала аромат цветов — и я говорил о цветах, о грозе, чтобы скрыть, что было. Но что же там было. Что случилось и чего не произошло из того, что должно было быть, гвоздила мысль — и чувствовал что-то утраченным и не совершившимся навеки.

На другой день простились на вокзале. Она уже ничего не скрывала от меня, была вся тут, как сестра родная, с которой вырос я с детства и которой нечего стыдиться перед братом. Когда заметил на глазах ее слезы, спросила меня прямо: как я — еще стыдись своей слабости. Я солгал, что я бодр, и говорил о своих намерениях, планах, но она создалась о себе, что ей всегда больно, больно прощаться с людьми, не может иначе.

Потом звонок. Я вздрогнул, все похолодело во мне. Гляжу на нее. Хочется опять безумно припасть к ней — хоть как-нибудь, только на прощанье поцеловать ее в лоб — чем-то успокоить ее... Но говорю сам не знаю что, говорю, что кажется мне, мы скоро опять увидимся, что через месяц, наверное, я сам приеду к ней, в Тульскую, что мне в Курской губернии, наверное, нечего будет делать.

Она вздрогнула, встрепенулась вся, точно только этого и ждала.

— Да, да, непременно... буду ждать вас. Приезжайте, там можно у меня ... и пишите о себе чаще...

На минуту точно стало легче. Я чувствую, как она глядит на меня просто, с чистой, с материнской, как ко всем, любовью, еще что-то хочется сказать мне — и стыдно и сладостно мне от любви ее. Но безумная мысль вдруг прорезывает сердце — а что, если жесток теперь, что так оставлю ее одну, что, может быть, нужен ей, нужен, чтобы был возле нее... Но еще звонок, последний. Свисток. Поезд трогается. Она пожимает мне руку. Идет возле, ускоряет шаги, еще не поздно что-то сделать... Но нет уже... Рок. Она бежит за поездом, бежит до самого конца платформы и там стоит.

Когда поезд свернул и скрылся, все не мог войти в вагон. Разрыдался. Так не плакал с самого далекого детства. Потом вошел в вагон. Хотел забрать себя в руки, думать о деле, на которое ехал, которому жертвовал всем... Но нет, уж не мог. Она и она одна передо мною... ее невыразимо грустный взор. Что же там было? Что же там было вчера в Петровском? Вот что главное. Чего не оказал, и чего не сделал там. И не знаю, и мучаюсь несказанно.

Семь лет тому назад это было, и только теперь я знаю, что это было.

Боже мой! Боже мой! как далек я был тогда от Тебя, как далек был от Света очей Твоих. Люди часто не знают, как быть и что делать им вдвоем вместе, когда остаются друг с другом с глазу на глаз одни, — и молчат, и страшно становится им молчать тогда и спешат наполнить время каким-нибудь разговором или заботами, а если это мужчина и женщина, то и враг их любви, уже дух игры плоти с плотью близок к ним, тут же возле них — но это оттого, что не верят они в Бога, не верят в то, что Он Один — жизнь их и наполняет все и всех кругом и трепещет жизнью даже в молчании их. А страшно людям нечистым Его, потому что молчанье укоряет их, обнажает пред ними всю грязь и пустоту их, и вот спешат они укрыться от Него, завернувшись скорее в одежду слов перед другим человеком, пока тот не увидел всю бедность и ничтожество их. Таким ничтожным и был я тогда.

Теперь, кто прочтет это, тот, может быть, поверит, что есть грехи непростимые. Ибо думаю теперь и рассуждаю и ужасаюсь — возможна ли была бы та мука сестры Маши и моя и всех других, которая открылась мне тут, если бы не теперь, а 3,5 года уже до этого послушался я того таинственного Ангела своего, который тогда уже звал меня к Покою у ней, если бы тогда уже предпочел ее той мерзкой жизни, в которую вступал. Вот о чем спрашиваю себя и говорю: нет. Думаю так, что хоть каплю бы радости истинной, вечной видел бы с ней и дал бы ее ей, а того, что произошло в Петровском, не могло бы произойти. Свет есть, Свет зовет нас, Свет всегда, и рано и поздно держит наготове нам Руки свои и объятья свои и никогда не отгонит нас от себя, но что же мы медлим и не идем к Нему, и сами не идя, держим и других во зле и страдании, в котором живем.

О любви ко всем говорили мы друг другу. Любовь хотели нести другим. Любовью горели. А Того, от Кого любовь, Того не знали. К Нему и обращалась она среди березок Разумовского, Его искала, может быть, от Него со мной вместе хотела услышать указание, то ли мы еще делаем, что должны и что нам нужно, или просила благословить наше дело и наш союз. Но этого-то я не мог вместить, даже и в голову не приходила мне мысль тогда о Нем, так был нечист, что ничего, кроме самой низкой и мерзкой мысли, про которую сам знал, что она мерзость и которую все же не мог отогнать от себя, не находил в себе. Господи, Боже мой! Ехали на страшное, на последнее мое с ней дело на земле, дело, как думали, любви, но о Нем не подумали, Его Имени не назвали. Она-то еще помнила Его, она подолгу иступленно молилась Ему еще в отрочестве своем, когда я безумно прожигал дни свои в полном отвержении Его. Мог ли я не почувствовать себя теперь лишним и мешающим ей, со всей своей любовью и своевольной решимостью, когда она, не оставленная Им, опять вспомнила Его и опять обратилась к Нему. Он и устранил меня от нее. Таков был суд Его надо мной. Нечистый и отверженный Им от нее, от Его избранницы — но сам считавший себя еще достойным ее — в гордыне своей, ехал я теперь от ней, сам не зная, того, что произошло. Но могло ли мне быть теперь легко.

5.

В Курске. Я еще не знал никакого покоя. Лихорадочно делал все, за что взялся. Учительский съезд. Крестьянский союз. Партийная газета. Был присоединен к губернскому комитету партии. Выступил на митинге. Но все не то. Особенно мучила ложь, в которой очутился. Вдруг стал в глазах других чем-то значительным — приехал из Петербурга, из Гельсингфорса, из самой Думы. Член комитета, а что я знаю, что могу. И с ужасом видел, что ничего еще не знаю. Меня берегут. Мне навязывают поддельный паспорт, говорят, что нужно. Это особенно мучает. Ведь ложь. Разве в сестре Маше есть ложь. Наконец, не могу больше оставаться в городе. Когда приходят из губернии вести о могущем возникнуть около одного имения столкновении крестьян с войсками, еду туда, чтобы предупредить. Товарищи не со-

ветуют. Но там все-таки лучше, там поля, там земля. Сестра Маша говорила, что думает попробовать поработать с крестьянами в поле. Хорошо бы и это. Хочется оживить Старо-Оскольские дни. Ночую в избе замученного в 1891 году в дисциплинарных батальонах за отказ от воинской повинности Дрожжина. Слышу рассказы о нем. А вечером в каком-то шалаше в лесу у кулеша. Но на другой день меня арестовывают в вагоне на обратном пути в Курск. Поддельный паспорт и все бумаги я успел выкинуть. Арест меня не испугал, даже обрадовал, теперь конец хоть лжи. Со станции, на которой высадили, меня привезли в неизвестный мне городок Рыльск. Здесь я назвал свою фамилию, но мне не поверили, а пока наводили справки, заперли в участок вместе с пьяным и каким-то придурковатым странничком. Голубыми ясными глазами глядел он на меня и, узнав, что я студент, вдруг отшатнулся: ты — в Бога не веруешь, Царя не признаешь. Я знаю. Мне страшно стало, что-то высокое было в его лохмотьях и необыкновенной ласковости и кротости ко всем, каких я в себе не знал. Спросил его, что он делает... - Хожу, странничаю. - Почему? Сновидение было. Так Бог велел. Ничего не посмел я больше сказать ему. Но образ его стал томить и волновать. Его увели. Сжмалось сердце. Уйти, бежать к ней, хоть пешком, как этот странник, добраться до нее. Уж теперь в Курске делать нечего.

Стерегли плохо. Я все уже расспросил, узнал. Был праздничный день, кажется, воскресный или Петров день. Городовые после обеда разделелись, кобуры и шашки сняли и сели обедать. Один только не снял, тот, который сторожил меня, но и тот спал. Я разбудил его и попросился до ветру. Идти было далеко, через весь полицейский двор. Он провожал меня. На обратном пути я замедлил шаги.

— Небо-то какое нынче ясное, — сказал я.

А сердце так и стучало. Бежать так сейчас. Но городского обмануть. Помню, как гадко и страшно это было. Шептал: прости. Но идти, так идти до конца. Я ведь революционер.

Он остановился, потянулся, зевнул и стал глядеть на небо. Но меня уж и след простыл. В один миг очутился я у настезь раскрытых ворот и за ними. Позади раздались крики, шум, свистки, гиканье. Выбежали за город, к реке, здесь дорога шла гладкая, в гору, ни кустика рядом. Солнце палило немилосердно. Если пробегу в гору, спасен, там скроюсь и пешком, пробираясь, как этот странник, дойду до нее. Но вдруг в ужасе застыло все: а дальше-то что. Опять не знаю, ничего не знаю. Для чего я у ней. Что принесу ей. Ужели опять то же, как в Петровском-Разумовском. Ведь я-то еще такой же. Ничто не изменилось во мне. В голове закружилось. Не пробегу в гору. Бросился в канаву. Думал - умру сейчас. Разрывалось сердце. Отваливались ноги. Потом очнулся. Надо мной была густая трава; в канаве светло, а высоко, высоко сияло небо. Как хорошо сейчас умереть... и ничего не надо. Ведь все глупости одни. Игра — наша революция. Что мы в самом деле? Неужели пойдем кого убивать? Даже смешно. И ей ничего не надо. Умру и мучить ее не буду. Только память одна хорошая останется от меня. И больше ничего.

Но вдали шум. Меня еще ищут. Городовой показался в саженях 70 от меня, но около моей канавы. «Его обрадовать, — вдруг мелькает странная мысль. — Показать ему. Как будет рад, что меня нашел. Хоть одному-то человеку радость доставить. Ведь мне больше ничего не надо». Я шевельнулся. Городовой глядит. Я взял и сел на край канавы. «Ведь все равно уж найдут». Он обрадовался, бежит. И я обрадовался, смешно даже, стало, как он рад. Смеюсь. Доставить радость одному человеку. Какие же мы все дети еще и как мало нам нужно.

— Говоришь: за народ, а городского подвел — налетел на меня сзади другой, тот, от которого я убежал. У. Убью. Мокрого места не оставлю. Как муху раздавлю.

Но меня от него вырвали. Повели в участок. Надзиратель суетился кругом.

- Погодите, братушки, погодите. Уж придет, разделаемся, будем бить. Не сейчас, не сейчас.

- Теперь убьют, — думаю я, когда ведут, и вспоминаю, что надо перед смертью быть чистым до конца и искренним в себе, хочу этого. Гляжу в себя, что же мне нужно. Городового подвел. Как это глупо, гадко и из-за чего, из-за какой-то игры своей, сам не знаю зачем... Надо сознаться в этом скорее, просить у него прощения, чтобы умереть в мире со всеми.

- Простите меня, простите. Я не знал, что это будет вам так больно, — шепчу я ...

- То-то: теперь простите. Нет уж, теперь попался, шалишь, не уйдешь ... На, вот же тебе. Кто-то дал мне в шею.

Но вот и участок. На дворе заперли все ворота и прогнали посторонних.

- Но, Боже мой, что же это? Теперь бьют ... Ведь это я их довел до такого зверства. Какой ужас, ужас.

Ударили по лицу. Я упал. Потом плюют. Толкают сапогами. Раздели до нага. Бросили в грязный, вонючий, заблеваный блевотиной пьяных чулан. В нем ни лечь, ни встать во весь рост нельзя, так он был мал. Опять плевали в лицо. Старший городской отобрал ключ к себе, чтобы не убили вовсе. Один пьяный ломился, чтобы задушить. Наступила страшная ночь. Разрывалась жизнь.

Они цветы мои сорвали

И растоптали все мечты . . .

Так пел я после об этом. Это верно, если только это понять. Да, растоптали те ложные, красивые мечты о себе, которыми мы опьянялись и скрывали от себя истину, ибо боялись взглянуть ей прямо в глаза. Страшное открытие сделал я в себе в эту ночь. Страшно вдруг стало то, что нет ничего страшного для меня. Ну, избili меня. Ну, чуть не убили. Ну, бросили сюда. А что же дальше? С ужасом, с сожалением, даже со слезами глядел я на свое ничтожное, избитое тело. Но сознание мое было далеко. Разве били меня, били это тело, а я-то? И что мне нужно. Ни революции, ни бегства к сестре Маше. Ведь я же сам от этого всего отказался — там, в канаве, когда сдался городовой. И не было никаких чувств во мне — ни негодования, ни злобы за то, что меня били. Какой же я человек тогда и революционер. Готов был пасть на колени перед ними в тот миг и целовать их ноги, чтобы только не били. Так страшно было за то, что в них вдруг увидел растоптанным их зверством. И голос, что это я их довел до этого. Городового подвел из-за какой-то пустой игры, сам не знаю из-за чего. Дразнил их. И опять ужас. А товарищи, а революция. А сестра Маша. Не изменил ли я им. Что окажут, если это увидят во мне. Где же свобода личности, за которую мы боремся. Мать, мать. Что бы было, если бы ты меня увидела здесь, сейчас. И старался возбудить в себе «благородные» чувства негодования, протеста. Но, нет. Стать нищим, неизвестным, от всего отказаться, совлечься, целовать ноги у всех и плакать, и плакать всегда, как плачу сейчас. Это сладко.

На другой день повели в канцелярию. Исправник грубо издевался, допрашивая меня. Когда я заявил жалобу на то, что меня били, воскликнул:

- Помилуйте, да у вас прекрасный вид, — и довольно загоготал. — Вы, — обратился он к надзирателю, который первый сшиб меня с ног и плевал в лицо. — Вы, он говорит, его ударили.

И опять захохотал.

- Никак нет, ваше благородие. Когда ж это у нас бывает.

Я так и замер. Такой наглой лжи, такой дерзости я еще никогда не видел. Но опять только ужас, ужас за тех людей, которых видел, и за то, что в них. И не знаю, а мне-то что. Ужели мне нужно возмущаться за себя, обижаться на них.

Но в тюрьме, куда увели, написал жалобу. Через неделю приехал доктор и прокурор. Освидетельствовали, нашли кровоподтеки. Возбудили дело. Я опять мучился, не зная для чего. Написал бумагу, что не желаю дело продолжать, что все простил. Еще как-то раз увидел полицейского надзирателя на дворе тюрьмы, когда гуляли. Опять возмутился весь, подошел к нему и спросил, решится ли он теперь утверждать, что не бил меня. Он ничего не сказав, поспешил уйти. Я, взволнованный, вернулся к камеру. Стражник, приставленный ко мне, стал дразнить меня.

— А царь-то таких как ты и бить велел.

Я выругался.

Недели через три - жандармский допрос меня в тюрьме по обвинению меня в оскорблении Величества по 103 статье, грозящей каторгой в 12 лет. Я отказался отвечать.

Это было последнее мое революционное дело, это слово мое, произнесенное перед стражником. Но как тогда, так и теперь, не нахожу я в себе никакого оправдания ему. Я бы мог его и не говорить. Ни нервами, ничем не извиняю его, хотя и был возбужден. Но говорил его сознательно, как революционер, потому что считал, что как человек, стоящий за свободу личности, не должен, не смею молчать, когда меня оскорбляют. А был во мне уж другой человек, который знал, что все это не нужно.

Теперь в борьбе этих двух человек во мне и потекли мучительные дни в Рыльском остроге, куда меня из участка отправили. Содержали очень строго в одиночке, как пытавшегося бежать. Как кошмар тянулось время вначале. Не различал иногда дней и ночей. Все казалось каким-то фантастическим сном. Иногда молился, звал к кому-то, Неведомому, к сестре Маше, протягивал руки и плакал о себе, обо всех на коленях в углу. Иногда вдруг бурно возбуждал в себе революционные чувства борьбы и протеста, желания вырваться, бороться до конца. Один стражник вызвался передать мне известия с воли и мои письма туда, - простой и хороший. Он один только и утешал меня. Потом вдруг все падало. Хватался за Евангелие. Стать нищим земли. Блаженны нищие духом. Я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго Мое на себя, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко. Но и Он же: порождения ехиднины. Взял плеть и выгонял их из храма. Любить людей, любить всех, но не такими, какие они есть, какие они сейчас, а какими они должны стать, какими могут быть, каким был Христос, какую видел сестру Машу. Вот цель. Вот смысл. Прояснялось иногда сознание и начинал нанимать уже что-то новое и опять терял.

Однажды довел себя до того, что вынудил дерзостью начальника тюрьмы, кроткого и жалевшего меня человека, посадить меня в карцер, в темный и холодный, на дне острога. Целые сутки не спал, не принимал пищи, стоял на ногах и радовался. Опять то же чувство, как и тогда, когда избili. Не нужно ничего. Стать нищим, никому неизвестным. Во всем себя одного винить. «Еще мало, еще мало мне этого. Еще все-таки я счастливчик среди всех ... Уйти на шахты... выпить всю чашу до дна», — записал я после этого в дневник. Особенно мучительны были в это время мысли, впервые приходившие тогда в голову, мысли о том, отчего я — плод каких-то неведомых мне исторических сил — дворянин, белоручка, нежный телом и душой, родился в такой-то семье и вот поэтому только одному уже никогда не сравнюсь с другими людьми, с миллионами и миллионами других таких же, как я, но темных и грубых людей, которым никогда не станут доступны те высшие духовные и умственные наслаждения, которые доступны мне. Мы стремимся к равенству; мы стремимся к справедливости, но вот же ведь это и есть первое неравенство и первая несправедливость на земле. А как ее сгладить и кто виноват в ней. И еще страшней было думать о тех таких же неутомимых, как и эти, силах, о бумажных законах, которые созданы людьми, но приобрели над ними такую власть, что послушно двигают ими как щупальцами одного огромного вампира-государства, всосавшегося в народное тело, пьющего его кровь, режущего его на части, одних оставляющего без земли, других возвышающего, одних посылающего на войну, других на каторгу, в

тюрьмы, на казни. И не было в этом никого виновного. Мы все равны. Все безответственные, мертвые колесики или винтики бессмысленного механизма жизни. Кого винить, к чему стремиться. Иногда как удав какой сжимала меня своими холодными кольцами эта безответственность, это незнание, и чувствовал я, как холодело, как умирало духом и в смертельном, безвыходном ужасе.

11-го или 12-го Августа приезжала ко мне сестра Маша. Не вытерпела, когда узнала, что я арестован. Все исчезло на миг. Все залилось опять Светом. Так велик был Свет, что ни о чем скорбном ей рассказывать не мог, говорил только о том, что хорошо, что прекрасно, как и весной в Петербурге. Она тоже рассказывала, как ей хорошо в деревне, о детях, о крестьянах. За ней тоже гонятся. Оставаться в Тульской она больше не может, поедет в Петербург, а там не знает, что дальше. В Курске бабушка Брешковская, с нею прощаясь, как мать благословила ее по-русски, перекрестив, и поцеловала в лоб. Она радовалась этому. Только мельком грустно прозвучали известия о разгоне Думы, о Свеаборгском восстании, о Столыпине... Но мне уже было не до этого. Потом заботилась обо мне, что мне нужно. Нам дали два раза видиться, два дня подряд по полчаса. Я хотел просить еще об одном дне. Но она запретила просить. Хотя и сама вся вспыхнула, когда не позволили, потому что раньше ей разрешили свидания на три дня. Я видел, чего ей стоило самообладание, когда прощалась. Все время во время свиданий держала мою руку в своей руке — и я чувствовал, что только тут сейчас она спокойна и может быть только ради меня, чтобы меня не беспокоить, как и я ради нее. А там, наверное, страшно возбуждена... Уже видел в ней какую-то перемену. Еще один день. Она прощлась перед окнами моей тюрьмы, искала меня глазами. В ворота передала мне цветы. Я слышал ее голос при этом. И все кончено.

И был я с ней все время как чистый брат на этот раз, но уже не до <того? - З. М> было, чтобы и это заметить теперь в себе. Когда она уехала, страх за себя и за свое малодушие сменился страхом за нее. Поддержать в ней бодрость, ту бодрость, на которую хватало у ней сил при мне, стало теперь единственной первой мечтой и заботой. Стало самому от этого покойнее, стал разбираться в себе. Написал ей два, три больших письма в Петербург, решил начать говорить ей правду осторожно, о новом светлом, о бодром. Написал ей: как хорошо мне было на свободе, в деревне за кулешом, среди леса и ржи, что, может быть, в этом пути: оставить все заботы, всю образованность.

Она бодро писала в ответ:

— Не могу, не умею я говорить и писать. .. Но я все хожу с вами, и все говорю, говорю... А вы пишете, пишете мне, так письмам вашим, всегда радуюсь. Пишите о себе.

И я говорил, говорил с нею целые дни, как и она со мной.

Но вот в конце августа письма оборвались. Почти весь сентябрь не было писем. Тревога овладела мною. Однажды в начале сентября видел сон. Видел ее в подвенечном уборе. Ее венчают с человеком совсем чуждым ей. Он в пэнснэ, во фраке с белой грудью, очень счастлив и доволен собой. Как ведомую на заключение, ведут ее по комнатам квартиры, новой для новобрачных, показывают все безделушки ей. Проводят мимо меня. Она, бледная как воск, бросает взор на меня и точно говорит мне, чтобы я молчал, а сама всем улыбается... Я понимаю, что боится нарушить радость всех от их свадьбы. И никто ничего не видит. Потом обряд венчания, какой-то маскарад. Потом брачный пир. Я сижу на самом конце стола, не смею шевельнуться. Не смею взглянуть на нее и, кажется мне, один только знаю и вижу ее ужас, — ведь это же ужас для нее, что делается. Но не смею о нем никому сказать. Она не велит. Взглядываю на нее и вижу взор ее. Она пристально смотрит на меня и опять точно говорит мне, что это она сама так решила, идти замуж, чтобы я ни о ком не подумал дурного здесь. Не насильно выдают ее, но она сама так решила, потому что хочет и должна принести им в жертву самое последнее святое, что у ней только еще оста-

ется — свой обет чистоты, на это решилась теперь и это единственное, что нашла нужного для себя на земле. Я чувствую, как цепенею от этой ее решимости. И опять гляжу на нее и вижу, глядит она на меня и точно говорит опять, чтобы я никому, никогда не выдавал ее тайны, если люблю ее так, как она верит, что я ее люблю — единственный здесь, а то разрушу то маленькое и хрупкое счастье других людей, которое задумала она построить своей жертвой. С таким запретом и с невыразимой тоской и любовью все глядит она на меня и глядит, вся в белом, в подвенечном уборе, бледная как воск... Я как застывший, я цепенею на месте. А кругом шум, все встают, звонят бокалы, скользят лакеи, смех, ее поздравляют, все довольны, она всем улыбается, ее уже ведут с женихом к нему. Но она все глядит на меня и глядит, как бы прощаясь, и я не двигаюсь... Я уже не сплю даже, я понимаю, что это только сон, но боюсь открыть глаза, потому что еще вижу ее, храню ее последний взор. А она все глядит на меня. Целый день я пробыл так, как в бреду, закрывая глаза и опять все видел, видел ее... видел, как глядит она на меня и запрещает открывать мне ее тайну, бледная в подвенечном уборе и с невыразимой тоской и любовью во взоре. Боюсь шевельнуться, чтобы не нарушить виденья... И вдруг понял... С ужасом, со смертельной тоской, ясно, вразумительно вдруг понял. Да это что же? Вель это же ее смерть... Боже мой! Ужас, ужас! Ее уже нет. А я-то что! Боже мой, Боже!

Теперь уже последние нити покоя и веры оборвались. С тоской, осторожно стал писать я письма друзьям, не смея выдать им своего предчувствия, стал спрашивать, что с ней. Но вместо ответов от них пришла тайная записка от нее, что она в тюрьме, как и я. Передали с воли. «Она еще жива. Господи! Господи!» Стал молиться. Но записка без пометки числа. Опять беспокойство: может быть, давнишняя, а теперь-то, теперь-то она что. В записке она пишет: «Дорогой Л. Д., хочется на волю, на свободу, нам бы обоим с вами вместе свободойдохнуть», и приписка: «Пишите дедушке вашему, чтобы он похлопотал о вас». Целая бездна души ее в этой приписке. Она уже не хочет революции, она уж устала от нее. Боже мой! Так понимаю я эти строки. И еще больше содрагаюсь: может быть, я-то и держу ее теперь в тюрьме, может быть, и кинулась она искать тюрьмы, потому что не хотела быть на свободе, пока я не на свободе, пока не откажусь от того, что бросило нас сюда. Ужели упорствовать еще в этом. Верю ли я. Где же правда.

Только в начале октября узнаю, что она еще жива на земле и что она опять в Петербурге. Ее друзья за нее хлопотали. Начинаю получать письма и от нее. Но от этого не легче. Напрасно борюсь и не могу побороть предчувствия. Сон как живой передо мной, а письма идут долго. Может быть, она писала его, а теперь-то, когда получил я его, ее уже нет. А может быть, это даже и подделка. Самая дикая, глупая мысль приходит мне в голову. Друзья за нее пишут, скрывают от меня... Но и письма-то ее какие все страшные, жуткие. Уже не насилует она себя, уже ничем не сдерживает того, что есть... Такого отчаяния, такого страдания и ужаса я еще ни в ком никогда не видел.

— Мы все скользим, скользим у пропасти. Ничего не знаем.

— Дорогой Л. Д., молитесь за меня, молитесь за всех.

— Я такая темная, неумелая сейчас... Ничего не знаю, главное потеряла. Так много нехорошего, несознательного во мне...

— Научите хоть вы, скажите слово. Вы - брат мой, старший брат мой.

— Сегодня прочла, что в один день 16 казней, почти все виселицы... Какой ужас смерти в палатах, в судьях... Бедные солдаты, которые всех расстреливают. Вы представьте себя таким солдатом.

— А у нас все то же... Я мечусь, хлопочу, но дохожу до ужаса. Нет сил... Все не тем, все ненужным кажется... Поступила опять на медицинские курсы...

— Хочется молиться за всех. Вся жизнь всех вдруг представилась как на ладони.

— Но свет есть, есть... Свет все-таки есть. Свет и во тьме светит... Простите меня, не судите меня.

Она еще хлопочет обо мне. Присылает мне вещи, книги Михайловского, Маркса, даже Канта... Чтобы успокоить себя, погружаюсь в книги, ею присланные, изучаю их; но чем больше окунаюсь в них, тем больше вижу разлад свой с ними, ничему уж в них не верю. Одна только мысль: бежать и бежать к ней, пока еще не оборвалось вовсе, не изошла последними силами в отчаянии. С ней дохнуть вместе свободой, как она писала мне. На свободе раздумаем, узнаем все. Каждый миг кажется столетием, как бесконечность тянутся дни.

На другое освобождение, кроме как на бегство, не было никакой надежды. Предстоял суд по трем делам, и кроме того я был уже административно приговорен к ссылке в Нарымский край на 6 лет. После слышал от друзей, что, в случае моей ссылки, она сама собиралась ко мне туда.

В ноябре, в начале, меня перевели этапом из Рьельска в Курск, к суду. Бессонная ночь в арестантском вагоне, переполненном политическими, каторжниками и ссылаемыми административно в Архангельск и в Сибирь. Кровавый кошмар их рассказов о смертных казнях, которым они были свидетелями, об истязаниях на допросах, об их террористических выступлениях, о приготовлении бомб и других снарядов, счет товарищей, погибших при взрывах и погромах, потом жизнь в Курске, где я из Рьельского одиночества сразу попал в шумное политическое отделение, разгульная жизнь, я не могу найти лучшего слова для того, что тут увидел, распушенность воли, отсутствие всякой твердой почвы у всех, и знаний, и еще более обесценивание своей и чужой жизнью, какой-то пир во время чумы, письма другого отделения, доходившие до нас от смертников, гимназист один, ждавший казни, просил нас прислать ему яда... Наконец, уголовщина, от которой положительно уже невозможно было отделить идейных заключенных, — то, что Чернов тогда назвал распылением революции, — смывали окончательно последние розовые представления о ней, срывали последние еще оставшиеся цветы.

<...> Говорят о строгих и неумолимых исторических процессах, умеют находить для них красивые и даже математически точные формулы. Жертвы и только жертвы видел я кругом этих процессов. И были для меня одинаково жертвами несчастными и тупыми и бессознательными и те солдаты, которые всех расстреливают и которые стерегли меня здесь, и те революционеры, которые меня окружали и какими хотели мы с сестрой Машей стать. Какой ужас! — мы с нею стать ими.

Верить себе, только себе. Теперь я знал это, хотя и не знал, к чему это обяжет и к чему приведет.

В это же время получаю две вести из дому грустные. Умерла моя бабушка — тихая и покорная всему в последнее время старушка*. Умерла еще моя тетя родная**, очень любившая меня. Эта в цвете лет, ничем не удовлетворенная, жаждающая, ищущая... Сколько надежд в ней погибло. Ей я успел послать еще телеграмму, что люблю ее и всегда буду любить. Но так нехорошо, так холодно простился с ней в последний раз, что страшно вспомнить, и знал ли я, что с ней больше не увижусь. Как грозное предчувствие о чем-то близком всем, как суд прозвучали обе вести.

Мы все у пропасти... Но некогда было уже и думать об этом.

Наконец, в конце ноября 1906 г. был суд. Все силы своей души напряг я теперь на то, чтобы быть свободным и только себе одному верящим. Решил говорить одну правду, т. е. ту внутреннюю правду, которая жила в нас, когда мы бросались в революцию. И верил, что за нее меня нельзя судить. Когда я кончил свою речь, защитник, присланный друзьями из Мо-

* Анна Васильевна ЗаблOCKая-ДесятOвская, урожденная ГрибOедOва, род. в 1817 г. 11 февраля, скончалась 7 ноября 1906 г. (*Примечание Б. Райкова*).

** Ольга Петровна Семенова, скончалась 12 ноября 1906 г. (*Примечание Б. Райкова*).

сквы, сказал, что ему нечего прибавить. Вызванные обвинением многочисленными свидетелями-крестьяне не подтвердили взведенных на меня обвинений, и суд меня по двум главным делам оправдал, а по третьему, за оскорбление Величества в тюрьме, приговорил к наименьшей мере наказания, к месяцу крепости, и объявил до приведения приговора в исполнение свободным. Такого благоприятного исхода суда я уж никак не ожидал. Все надежды вдруг вспыхнули вновь. Но меня из тюрьмы еще не выпустили, предстояла административная ссылка в Нарымский край. Я телеграфировал в Петербург об оправдательном приговоре, просил отмены ссылки, а сам стал замышлять бегство. Но шли дни, неделя, другая... Целая бесконечность... Последнее письмо от сестры Маши было от 16 ноября, то страшное, растерянное... Писала о казнях, о солдатах, о моей тете. Я не решался больше писать ей. Ждал, как решится дело. Тогда сам приеду, сам все увижу, скажу.

Наконец утром 12 декабря меня позвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я свободен, еще передали из Петербурга письмо от младшей сестры Маши, институтки. Она писала, что Маша была у ней, рассказывала обо мне, и вот она поэтому пишет мне о своем сочувствии и желает мне свободы. Почему же не от нее самой? Дрогнуло что-то внутри. Но, нет. Не может быть. Уж слишком велика радость свободы. В участке, куда повели меня из тюрьмы, взяли от меня подписку о моем немедленном выезде в Курск. Я выпросил себе один день. Я уж не торопился. Покой, уверенность и мужественная решимость не торопиться, чтобы тем достойнее оказаться встречи с сестрой Машей, вдруг разом заменили прежний страх, и все тюремное показалось только слабостью. А в Курске надо было еще устроить некоторые другие дела заключенных, успевших передать со мной просьбы на волю, в том числе подготовить побег тому гимназисту, который прислал у нас яду. Побег потом удался.

Из участка я поехал к знакомому присяжному поверенному, в доме которого останавливался раньше. Был уже вечер. Пошли разговоры, расспросы. За обедом, когда я сказал, что еще не тороплюсь в Петербург, вдруг водворилось молчание. Муж с женой переглянулись и сразу после обеда стали куда-то собираться. Я думал у них провести вечер и ночь, как это делал раньше, и заикнулся об этом. Но вдруг услышал холодный, как мне показалось, совет, чтобы я сходил к Кувшинниковым, другим моим знакомым в Курске. Немного задетый этим, я терялся в догадках, что бы это значило, не нарушил ли я какие-нибудь правила партии, которою был связан с присяжным поверенным, я пошел к Кувшинниковым. Это была простая помещичья семья, состоявшая из немолодых уже мужа и жены и их детей, девочек от 17 до 5 лет, считавших меня за героя. Сам брат Кувшинников был со мною вместе в заключении в Старом Осколе, но теперь был на свободе. После всех приветствий, радости и ласк детей, во время которых и я весело заявил, что намерен погостить у них в Курске, после вечернего чая все, я не заметил как — вышли из комнаты, и я остался один на один с хозяйкой дома. Наступило молчание.

— А вы знакомы с Марьей Михайловной Д-й? — вдруг спросила она меня.

Я так и вздрогнул: откуда она знает ее имя?

— Да, знаком. Отвечал нерешительно, не зная, что будет дальше.

— А вы знаете, она ведь очень больна... — начала она.

Но я уже все вдруг понял.

— Ее нет... От меня скрывают это. Зачем скрывают. Я давно это знаю. Она вынула телеграмму. Ничего не скрывали.

— Подготовьте Леонида к страшному для него несчастью. Маша Д. скоропостижно скончалась сегодня 11-го декабря в 10 ч. утра. Руманов.

Всего только вчера... Одного дня не дождалась меня. Боже мой! Боже! Я выбежал в другую комнату и рыдал.

Но в ту же ночь со скорым поездом выехал в Петербург. Нашел еще в себе самообладание спешно исполнить поручения заключенных. Зашел проститься к присяжному поверенному. Поблагодарил его. Кувшинников молча сопровождал меня всюду с боязнью, как мне казалось, чтобы я не сделал чего-нибудь над собой. Но мне смешна была эта боязнь. Она ушла отсюда, но я еще остался здесь. Решимость жить была окончательная. Я один исполнил, чего не исполнили вместе.

«Хочется для вас жизни нужной, как мне хочется смерти нужной». Вспомнились теперь эти ранние слова ее мне и стали теперь священным заветом ее мне. Найти эту нужную жизнь, найти форму для этой нужной жизни, для жизни Того, что мы видели в себе уже с нею как Свет.

- За вас умираю... Ступите на каменную плиту могилы моей и идите вперед и все выше... — нашел я в Петербурге ее слова в записках, оставшихся после нее.

6.

Ничего необыкновенного в ее кончине не было.

Нежная и хрупкая телом, она никогда не думала о себе, стыдилась этого. Никогда не видел ее никто сознающей свою усталость, сонной или жалующейся. Целый день могла она бегать по улицам Петербурга в хлопотах о других из одного конца города в другой, по крутым лестницам, по магазинам, по редакциям, забывая про пищу. Говорили, что такое хождение не могло не отразиться на деятельности сердца. Уже на войне заболела она. Стали появляться у ней какие-то обмороки. В Петербурге она от всех скрывала это. Всегда предчувствуя заранее приближение их, она успевала заранее уходить от всех, запираясь на ключ в своей комнате. Сама лечилась. В последний месяц ее жизни на земле все видели, как таяла ее плоть. Но так же бегала она по Петербургу, готовилась к экзаменам на медицинских курсах... «Медицинские курсы - это мой поцелуй земле», - написала она раз подруге. «Помнишь Соню Мармеладову, как она велит Раскольникову пойти на Сенную площадь и там поцеловать грязную землю за то, что слишком высоко поставил он свою отвлеченность, свою идею. И я такая же отвлеченная... Слишком долго жила такой отвлеченной ненужной жизнью»... Так не ценила она то неземное, что все видели в ней и на что молились в ней другие, и так велика была ее жажда здесь, на земле, сейчас же, в грязи ее каждому принести хоть какую-нибудь радость, оказать этим любовь.

Однажды шла она с подругой по улице. Кто-то попросил у них денег. Сестра Маша сейчас же вынула и дала, и тот тут же при них пошел в казенку за вином.

— Ну вот, зачем же ты дала ему. Ты видишь, на что он просит... — возмущилась подруга.

— Ну, что ж, и хорошо, что дала. Ты ведь подумай только, Женя, у него нет никакой другой радости в жизни, кроме этой. Пусть же хоть эта-то будет.

Но это уже почти отчаяние, это уж неверие в смысл и цель жизни, неверие из жалости к людям. Жалость наполняла ее всю; жалость ко всем слабым, несчастным и грешным была, казалось, самой душой и даже самой. телесной оболочкой ее. Она складывала мучительные складки улыбки на ее лицо, она напрягала стремительно вперед весь нежный, хрупкий стан ее, точно готовый прильнуть и покрыть материнской лаской каждого, она глядела на нас из бездонно глубоких, широких, темных и строгих глаз... Сама плоть ее была дивным дополнением к ее духу, так что перед лучистостью ее невольно опускается взор.

Но медицинские курсы ее не удовлетворяли. Мысль о деревне, о ее школе, о «ребятишках, оставленных, покинутых там на произвол судьбы», о годных - не давала ей покоя. Что-то манило ее туда, что-то открывалось

ей, может быть, новое там. Ниоткуда ее письма не дышали таким покоем и счастьем, и радостью, как оттуда. «Как хорошо мне, уютно в школе, — писала она. — А кругом красота неописанная, благословенная. Поля, луга, цветы. Казалось бы, только и жить. Только горя реченька заливает всю жизнь». И как любили ее дети и вся деревня, свою Марию Михайловну. Как берегли ее. Но в Тульскую губернию ей после ареста въезд был запрещен.

В Петербурге металась, готова была чуть ли не броситься в летучку, в боевой отряд с.-р., только бы скорей сгореть. Конечно, это было у ней только жаждой жертвы: «Хочу в жертвенник пламенный обратиться»... прорывалось у ней в письмах. «Я так жизнь люблю, так жить хочу, что от жизни отказаться, отречься готова». Так неудержимо выхлестывалась в безвременье, в вечность ее ничем неудовлетворенная здесь, бессмертная, жаждавшая жизни вечной часть. Иногда мечтала: «Хочу в Финляндию уехать, в лес, в горы, к озерам, и там обдумать свой путь, свое служение до конца».

Мысль о телесной смерти ее никогда не покидала. Что ей недолго жить здесь, она всегда знала и прямо говорила всем. Может быть, это и было то, что всего больше поражало всех в самых же первых встречах с ней. Страшно было слышать это от ее юности, не хотелось этому верить и верилось почему-то невольно. Точно ангел смерти уже стоял около нее, охранял ее от всех, как свою избранницу, и придавал особую остроту и чистоту всякой близости с нею. Страшно было иногда всякого дыхания около нее. И странные песенки слалага она про себя, все песенки тоскливые о смерти.

Ты бескровная, высокая,
Ты ходи по пятам за мной.
Выходи по прямой по дороге
Гордо выходи навстречу мне.

Упаду без слезы
На твой гробик, мой друг,
Будем в смерти мы жить,
Целоваться, любить,
И молиться и песенки петь.

Я красива,
Не спесива,
И пою я
Без мотива.
Ветерочек
Лепесточек
Мой, шутя, колышет,
Всякий странник
И изгнанник
Мои песни слышит*.

Но в последнюю встречу мою с ней, весной этого года, она совсем не говорила о смерти, точно забыла или не хотела нарушать нашего весеннего праздника торжества жизни земной, радовалась нашей радостью. Но так же жутко, лихорадочно торопилась все сказать и сделать другим, что считала нужным. «Надо детям сказать все самое главное, нужное, что знаю, заронить... а потом уйти от всех». Написаны в это время найденные нами последние слова в ее тетрадях.

* Эти стихи, написанные сестрой Машей, воспроизведены младшей сестрой М. М. Добролюбовой.

В день 11-го декабря утром она постучалась в дверь своей сестры и обрадовала ее своим согласием пойти с ней к доктору, к которому давно уже уговаривали ее пойти ее друзья и родные. Пока одевалась та, сестра Маша села за лекции, а старушке няне, немке, приказала приготовить ей крепкое кофе. Это очень крепкое кофе она пила, когда чувствовала в себе приступы головной боли, о которой было известно и другим в ее семье, что она ими страдает... Возвратившись из кухни в свою комнату, заперла дверь на крючок и, по-видимому, села за лекции. Няня долго готовила кофе, и когда налила его в чашку, услышала шум в ее комнате, как бы паденье кресла или чего-то тяжелого на пол. Подойдя с кофе к двери, нашла ее запертой. В тревоге стала звать...

... Но услышала в ответ, или только почудилось ей, что услышала слабый, прерывистый стон...

Побежали за дворником, взломали дверь, послали за врачами... Но уж ничто не могло вернуть к жизни ее нежное, как лепестки цветка, и подорванное тело. Родные воспрепятствовали ее вскрытию. Когда я приехал в Петербург, ее уже похоронили.

Когда меня спросят теперь, кто же была сестра Маша. Считаю ли я ее за особое, какое-нибудь совсем исключительное высшее существо. Я скажу: нет. В этом и радость моя, сказать нет. Такие, как она, были до нее и есть и благодаренье Богу Всемогущему, еще будут на земле. Но для меня она первая, которую я встретил из таких Свыше рожденных, вот и все ее значенье для меня. В мире же обыденном, как ни исключительно ее явление, — могу указать на родственные ей души. Не только брат Лев Николаевич в последние годы своей жизни среди общеизвестных имен принадлежал к родной ей семье, но и еще то тут, то там среди бедности нашего общества мелькают мне родные ей лучи иногда там, где их вовсе не ждешь. Недавно попались мне в руки отрывки из писем Веры Федоровны Комиссаржевской, и я поразился. Какие слова. Какие обороты речи. Если сопоставить их с письмами сестры Маши, то местами покажется, что писал их один человек. Та же мука. Та же бездонная искренность самоукорения и вера, и жалость. Не эта ли правда их и не это ли мучение себя правдой своей и жажда найти, воплотить в жизнь что-то такое, что еще никем из людей не найдено, не воплощено, но что ясно предчувствовалось уже ими в глубинах их, и было тем, что покоряло им других людей и будило во всех, кто их видел, какой-то укор за себя. И сестра Маша чувствовала при жизни своей родство с Верой Федоровной. Раз, помню, я провожал ее, она шла просить о чем-то Веру Федоровну за кулисы ее театра. И хотя раньше никогда с ней не встречалась, но шла к ней так, как к старой знакомой, ничуть не сомневаясь, что та сразу же ее поймет, и другие иногда сопоставляли их двух. Только, конечно, и это сопоставление должно иметь свои границы.

Сестра Маша верила в Бога... Вот главное, что было в ней и то, что знала Его и как-то особенно знала, как не всем это доступно знать, и о чем она никогда ничего не говорила прямо нам, — и было той грозной тайной вокруг нее для нас, какая ощущалась всеми и будила даже суеверный страх иногда... Трудно нам говорить об этом, о чем-то высшем, только ее одной касающемся. В юности, нам известно, она упорно и помногу молилась: ... «Мне страшно... Я боюсь Бога»... Долетают нам оттуда ее слова из воспоминаний о ней ее близких, о ночах с нею... Точно какой-то спор ее с Ним было это и ее непокорство Ему. Ибо и на высших ступенях близости к Нему бывают уклонения от Него. Но как нам судить об этом, когда и до этих-то ступеней мы не можем возвести своего взора... Но вроде было это

так, что отказывалась она от высшего жребия или пути, к которому Он ее предназначал, предпочитала ему нечто низшее и даже лучше смерть телесную, чем путь высокий, который бы слишком отделил ее от людей, среди которых была рождена на земле. «Ты знаешь, я Бога хую, иногда дерзко хую», находим мы в ее ранних письмах. «Отца ненавижу, зачем Он встал так высоко над нами... но Христа люблю: Он тихий и кроткий брат».

Сама боялась стать превознесенной, высокой, спускалась в самые низины жизни, хотя и слышала голос, звавший ее к высшей любви... Через земное хотела достигнуть небесного. «Полюби землю сначала», — учила она себя, но точно не до конца твердо верила, что через небесное может преобразиться земное, если только пойдет к Нему с полной верой. Был и ропот в этом на Бога за страдания других. Спускаясь к грешнику, сама готова была накинуть на себя покров грешницы и быть грешной перед Ним, дерзко с вызовом к Превознесенному Чистому, чтобы стать близкой к грешным, как тихий и кроткий брат их, но в этом непомерном и своевольном даже подвиге любви к людям теряла связь свою с Отцом Светов, против Которого восставала и тогда в ужасе молилась жадной смерти, сознавая себя самое нечистой, темной, неумелой, не могущей спасти, кого хочет. Страшны, отчаянны были эти минуты ее, минуты «бесконечного, бездонного отчаяния». Долго в такой муке жить не могла и истекла наконец силой воли к жизни на земле. Захотела смерти. И Того, против Которого она восставала, сама пылая Им же, ибо — кто Он Другой — как не эта самая неизмеримая жалость ее и боль за всех. Он, возлюбивший и ее как всех нас паче Самого Себя, не оставил ее без Себя, когда увидел ее в нечеловеческой муке, в сознании своей нечистоты и своего бессилия сделать что-нибудь без Него: я такая растерянная, все, все потеряла, совсем сбилась с пути; ее последние письма — но послал за ней Своего Ангела, ее любимого Ангела смерти, чтобы вернуть ее к Себе как Свою любимую дочь, и чтобы ныне освобожденная от земли могла она стать навеки неразлучной с теми, кого возлюбила здесь. Так и есть она ныне пламенный Серафим на всех невидимых путях наших, с нами всегда и всюду. Не нам уж судить о ней. Но и в самом попушении Богом того, что мы видели в ней на земле, мы видим любовь Его к нам, ибо попустил Он нас видеть, как и в человеке любовь к людям может достигать той высоты, что готов он стать и остаться лучше грешным перед Богом, чем видеть себя одного спасенным и вознесенным, когда другие еще пребывают во тьме греха...

7.

Но жуткое чувство посетило меня, когда ночью в вагоне не мог уснуть. Опять, как и тогда в участке, когда избили, страшно было то, что ничего в сущности не было страшного. Что же это такое, ужаснулся я сам себе. Вот и случилось самое страшное, страшнее чего ничего я не мог себе представить, смерть сестры Маши. Ее не стало. Ее уж я никогда, никогда больше не увижу и плачу об этом, но мне и не страшно. Как будто бы даже и радостно что-то в этом... и что. Как будто бы и ничего... Что же это такое. Боже мой, Боже мой! И ничего не знаю. Лежу в вагоне наверху, стучит вагон, покачивается все, закрываю глаза, стараюсь навеки, навсегда хоть в глазах своих сохранить ее образ, какой ее видел в последний раз в тюрьме, или вот когда ехал с ней из Петербурга в Москву — или в Петровском-Разумовском. Люблю и вижу ее... Но разве это она. Ее нет со мной... и мне ничего. Не содрогаюсь, не умираю сам. Ужели же это я так бесчувствен, что даже и ее смерти не могу почувствовать. Думаю я. Но дух не принимает вести о смерти другого, потому что сам не знает ее, — только я-то этого еще не понимаю. Зато в настоящем ужасе переворачивается все существо мое при мысли: а что, если она умерла, а мы-то все останемся такими же, как и были, и ничто не воскреснет, не возродится в нас к новой жизни. Нет. Это невозможно. Этого не должно быть. Господи! Господи! Не допусти же этого. Не допусти, чтобы ее смерть — нет. Уж не

это слово — не решаюсь выговорить про себя это слово: может ли она умереть... а ее жертва-жизнь — не <так! — З. М.> прошла для нас даром. И есть цель впереди: жить, как она учила, как она хотела, чтобы мы, жили на земле... только сумеем ли?

В Петербурге не решаюсь сразу пойти на ее квартиру, сначала к друзьям, потом к родным, там ведь тоже все смерти... Наконец вечером, когда стемнело, вошел в ее комнаты, не смея взглянуть ни на кого. Но, Боже мой, здесь всего только три дня тому назад она сама, еще живая, во плоти, ходила, всего касалась своими руками; все видела и слышала. Здесь каждая безделушка, мебель, стулья еще дышат, еще несут ее телесные следы на себе... Могу ли я поверить, что ее нет, что сестры Маши нет, когда слышу, как звучит ее тихий, грудной смех и ее прерывистый, нежный голос, всегда захлебывающийся, когда говорит она что-нибудь восторженно о друзьях... Всего только три дня тому назад... И вот люди, которые это все видели, и они говорят: ее нет... Рассказывают о ней... Невозможно говорить об этом, но еще невозможней молчать... Рассказывают, сами знают, что не то, что нужно... Но и это все живет и становится нужным. Слышу подробности о ней, о последних днях ее, о всех словах ее, о всей ее жизни. Рассказывают, что уже и тело ее, нежное, как цветок подрезанный, это хрупкое тело ее схоронено где-то на далеком и чуждом мне кладбище... и его я никогда, никогда уже не увижу больше и плачу об этом опять. Но разве она, разве она вся тут. И ничего не знаю, еще ничего не понимаю и томлюсь невыразимо.

Начались странные, как зачарованные, но все же и в боли своей сладкие дни.

Куда ни пойду, образ ее всюду со мной. Боюсь уже каждой минуты, когда бы его не было со мной. Берегу, храню его в себе. Закрываю глаза, вот вижу ее. Вижу волосы ее и глаза ее, устремленные на меня — глубокие, строгие и эту мучительную улыбку на ее устах. Но и ведь это еще не она. Ведь это только воспоминание наше о ней, образ, отпечатавшийся в нашей памяти. А где же и что она сама?

Из Петербурга как-то раз вырываюсь на Иматру, там брожу один, сижу один, зову ее... Но страшно одному. С Иматы бегу опять в Петербург, к ее друзьям, к ее родным, в ее комнаты... Однажды прорывается Свет в сознание.

Смерть и время царят на земле.

Ты владыками их не зови.

Все кружась исчезает во мгле.

Неподвижно лишь солнце любви.

Да, все сгнуло. Но не сгнула наша любовь к ней. Кого же мы любим. А можно ли любить то, чего нет. Еще думаю: Да и переменилось ли что от того для меня, что вот вместо моей ссылки в Нарымский край, где я также бы лишен был лицезрения ее, как и сейчас, переменилось ли что от того, что вместо этого я приехал в Петербург и мне люди говорят, что видели ее бездыханной и что они ее схоронили. Думалось: ведь и в тюрьме я с ней не виделся и считал часто, что ее уже нет на земле, и все-таки говорил, говорил с нею без конца и ею-то только и жил... Ведь не плоть ее я любил, и когда виделся с нею во плоти здесь, в этих комнатах, разве с плотью ее я говорил. Когда, не смея даже поднять глаза на нее часто, не смея коснуться края одежд ее, всем существом своим ощутительно, ясно, подлинно чувствовал каждое биение ее глубокого, нетелесного, незримого сердца, каждое содрогание в нем неизмеримой жалости и любви ко всем. Куда же могло все это деться. И разве может это сердце перестать биться.

Толстой в своих воспоминаниях о детстве, о своем брате Митеньке написал: «Как ясно мне теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был тем, чем я узнал его, прежде чем я узнал его, прежде чем родился и есть теперь после того как умер».

Да. Сестра Маша, уже не живущая во плоти, была теперь всюду со мной, не плоть ее и не образ ее в памяти моей, а она сама. Сущностью своей приходила ко мне в любви и являлась в памяти моей как облик, в котором жила на земле и наполняла все существо мое, как и тогда, когда виделись мы с нею во плоти, наполняя любовью и радостью и жаждой жить в любви и союзе со всеми. Ее я знал раньше, чем она родилась на земле, раньше чем я встретился с ней и видел и вижу ее после того, как перестали мы видеться друг с другом во плоти.

Приходит брат ее, тихий и ее любимый брат, такой не похожий на всех нас, совсем другой. Слышу споры вокруг ее имени, сам спорю больше всех. Еще невозможно, еще слишком горько помириться с мыслью, чтобы она в чем-нибудь ошибалась... Еще я... я виноват во всем... Но она ничего не сказала нам о революции, осуждающего ее... еще точно вся была в ней, когда отошла от нас. Опять все проверяю, опять все переживаю, что уже мучительно было пережито в тюрьме. Еще раз пробую воскресить в себе старое, освященное днями с ней... Дума, редакции газет, сходки партии, кружки рабочих, но все уж не то. Уж начинаю ясно чувствовать, что дело не в этом, а начинаю подходить к самому существованию, главному, к тому, о чем писала сестра Маша, что не знает самого главного, существенного, о чем никогда не говорил с ней прямо, о чем не знал еще, есть ли Он или нет. Но как поверить Ему, как поверить Ему мне, после того как так долго отрицался Его вовсе, как решиться сказать другим, что верю. Это-то и страшно; уже, может быть, и верю в Него, уже, может быть, и люблю и готов решиться жить, как Он велел, но назвать Его не смею. А сестра Маша уже тоже другая. Ведь в дневнике, в письмах ее понемногу раскрывается то, что оставалось для меня тайной в общении с ней... ее любовь к Богу... «Хочу Богу верить, Ему Одному служить». Ее слова в письме одном. Опять — неверующий я — отторгнут от нее, низринут, недостойн всего. «Сама себе заслоняю Свет», — пронизывают как огонь ее слова, когда-то сказанные ею о себе. Теперь я такой.

Однажды вырвался из Петербурга.

Сестра Маша любила брата Григория Петрова. Он был теперь сослан в Черемнецкий монастырь. Пойти посетить его казалось делом, завещанным ею. А еще больше хотелось остаться одному на воле среди лесов и полей, какой-то зов таинственный был это.

Поехал. Там нужно было идти от Луги до монастыря пешком верст 20. Тишина обступила меня, когда я вышел из поезда. Было раннее весеннее утро. Люди еще спали, только птицы чирикали кругом, и вставало ясное солнышко. Но люди не знают, сколько духа кругом, они себя только считают одухотворенными. Дух же не есть ум, которым только и жил я почти это время. Это только очень малая способность их, которую они отличаются от животных. А дух есть нравственная сила и область ее — покорность, безропотность, радость и трепетность жизни, бессмыслие, глубина, покой и все вместе преданность Вечному, — те самые силы, которые разлиты и в солнце, и в камнях, и в цветах, и в зверях. Кто же решится утверждать, что этих сил в них нет. Но иначе как нам объяснить то могучее таинственное воздействие их, какое испытывает человек, когда попадает в общение с ними. Одна собака иногда способна оказать человеку больше помощи, чем десять умов. И вот то, что не могли мне сказать ни люди, оглушенные своею жизнью в городе, ни книги их, ни мои мысли в их душном плену, то сказали мне теперь прыгающие белки с сосны на сосну и старородный мох и песок. Шел не торопясь, часто присаживался. Глядел на льдины, еще плававшие на озере. И мир понемногу, таинственный и глубочайший, сходил все больше и больше в душу. А и сестра Маша была тут как тут. То мелькала она между деревьями, так и тогда в березках Петровского-Разумовского, еще с невысказанной мукой, с невысказанной любовью и с невысказанной верой... то садилась рядом со мной уже как сестра примирная, успокоенная, точно омытая от своей муки и искупленная и радующаяся ныне всему, если решусь... Борьба продолжалась недолго. Трудно,

трудно тебе, Павел, идти против рожна, прозвучал здесь голос во мне и деяний апостольских, и вдруг понял его. Оставить, оставить все. «Возьмите иго Мое на себя и бремя Мое, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Стать нищим, каким был избитый в участке. Забыть все, забыть всю мудрость твою, всю ученость, совлечься всего. Если не будете беззаботны как дети, не можете войти в Царство Небесное. Взгляните на птицы небесные, и на лилии полевые, они не сеют, не жнут... Вот к чему зовет Он меня. И Он Сам или это только Ангел Его тихим веяньем вдруг точно стал рядом со мной, Всепрошающий, Всепримирающий, Невидимый, Неслышимый, но ясно чувствуемый, Всемогуший. Не мог больше противиться. Поверил зову. Решился... и просто стало все вдруг, как камень свалился с шеи, улыбулась земля и небо, и воздух, и лес кругом. Я брат их и сын их и сын одного с ними Отца, ибо захотел их покоя и Его вечности. Да будет же огнине Он со мной. Так случилась радость рождения. Как во сне потом пробыл я у брата Григория в монастыре, почти не видя его. Так же пешком вернулся на другой день в Лугу. Так же пело все кругом, когда шел опять по лесу и чувствовал свою решимость, ликовали и солнце, и камни, и лес, и точно ласкались ко мне. Готов был не возвращаться вовсе в город. Уйти от него в поля и леса и луга навсегда, навеки. Но нужно было еще проститься с друзьями. В Петербурге теперь пробыл недолго. Торопился покончить свои дела все, всю страшную игру последних лет и через месяц уехал из него...

Так медленно и понемногу проводил меня Господь в Свой Дом, вводил в Свое неизмеримо, но вечно сущее Царство Духа, в то Царство, в котором живы мы все и в котором ничто, никуда, никогда исчезнуть не может — где и для плоти чистой и принявшей молниеносный в памяти вид есть место, ибо Он Сам есть Всемогуший в вечном пламенном вихре любви, которым дышала сестра Маша в жизни своей на земле. Любовь же не хочет, чтобы что-нибудь исчезло из чистого и любимого.

Но дух еще немощен, привыкший к рабству плоти, привыкший только по следам в ней угадывать движения духа другого, он долго еще боится отстать от них. Что сестра Маша видела, говорила, делала, писала на земле, это казалось теперь прежде всего дорогим и важным. Это собрать, сохранить. Собираю ее письма, переписываю ее дневник. Хочу сам писать о ней, хочу во прахе земном поведать о ней другим, запечатлеть ее навеки в нем такой, какой мы ее видели и знали сами. Пишу повесть «Проклятие» из впечатлений последнего года. Но о сестре Маше ничего не могу сказать в ней, и все не то. Вот и письма ее переписаны, вот и дневник ее сохранен, а дальше-то что. Ведь жить, жить она зовет нас, как мы еще не умели при ней жить и что-то делать здесь, на земле, а как и что, об этом молчит. Хожу на ее могилу. Там все тихо. Там молюсь ей, хочу услышать ее самое. Но ничего не слышу и не вижу, как опять все то же: ее точно раскрытая, вечно зияющая рана, истекающая кровью, ее незримое сердце и ее вечно бьющаяся любовь и жалость ко всем. Их нести людям... Но как...

Намерение у меня было сначала поселиться в одной из сектантских общин, отчасти близких Толстому, и здесь начать жить приучением себя к черному труду среди простого народа и среди сектантов, которых чувствовал уже себе близкими по духу понаслышке о них и по тому собственному духовному опыту, который уже получил. Рассказывать теперь, почему именно туда собирался я и как и в этом велик и мудр Господь, бодрствующий над каждым из нас, мне трудно. Но да веруют этому все, что так бывает со всяким, рождающимся в Бога, не оставляет его Господь одного, а вводит его в готовую семью Свою, указывает ему братьев и сестер, которые могли бы позаботиться о нем и сами порадоваться радостью о новом рожденном человеке из мира... Так было и со мной. Но по дороге туда заехал к брату Льву Николаевичу Толстому. Это была живая потреб-

ность засвидетельствовать перед другим человеком свое покаяние и тем крепче связать себя с новыми решениями, а Лев Николаевич оказывался единственным из всего образованного общества человеком, который с детства предупреждал меня о том пути, на который теперь решался вступить... И вот после первой встречи с ним пришла наконец тут, в Яснополянском парке, та радость, чище которой и трудно испытать человеку с человеком. Совершилось то, что один человек покаялся перед другим — и оба вознеслись радостью и благодарением к Богу за то, что познали себя детьми Его. К этому не был я готов, когда был с сестрой Машей в Петровском-Разумовском год тому назад, а теперь сидел впервые в жизни, точно очищенный и омытый, радуясь купели.

К этому и готовился, ожидая рано утром выхода Льва Николаевича и бродя вокруг его дома. Одно желание было — высказать свою греховность и принять со смирением всякий самый суровый и резкий суд о себе из уст другого человека. Часов около 9 он вышел в сад и подошел ко мне спросить, что мне нужно. Услышав вопрос, я растерялся и схватил первое, пришедшее в голову слово, чтобы сказать самое главное о себе.

— Я — революционер.

— Я нахожу это занятие самым мерзким, пустым и возмутительным, какое только знаю... — услышал я в ответ. Он еще что-то прибавил резко возмущенно в этом же роде и кажется сказал даже, что и революционеров всех считает за несчастных, темных и худых людей, с которыми ему и говорить нечего. И быстро отвернувшись от меня, пошел прочь.

Я оторопел. Что-то гордое вдруг вспыхнуло во мне: ведь и сестра Маша — революционерка. Как же он смеет так говорить о всех, осуждая всех огулом, кого и не знал и не видел. Но я видел еще перед собой его сухую прямую, старческую спину, удалявшуюся от меня... Много лет борьбы и мучительных исканий и мысли, и недовольства собой было на ней и что-то, казалось, благородно-возмущенное клокотало за нею и, вспомнив свою решимость смириться, поборол себя.

— Он — старик. Он смеет так говорить и сестре Маше, — подумал я и стоял, не двигаясь.

Но он уже сам возвращался назад, и теперь беспокойно, что, может быть, не дослушал меня и обидел, растерянный и слабый старик, брат мой, такой же, как и я, как и все, и полный любви.

— Я назвал себя революционером, Лев Николаевич, — начал я быстро, путаясь... но я не совсем такой, я... — но слезы уже душили меня, я не мог говорить.

Он понял все... Не знал, как лучше быть со мной, что лучше сказать, как успокоить.

Потом на некоторое время оставил меня одного, отойдя на свою утреннюю прогулку, которую имел обыкновение каждое утро совершать один. И знаю, что в эти же самые минуты и он, как и я один под липами и березами его сада, конечно, молился Богу — молился обо мне, чтобы Бог дал мне силы воскреснуть, и благодарил Его за меня и радовался перед Ним, ибо есть ли какая радость больше той, какую испытывает человек, ищущий Бога, когда видит другого, приходящего к Нему, как овцу затерянную и вот найденную, а эту радость я и дарил ему в этот день.

Днем он сидел с братом Чертковым на террасе и завтракал, а я бродил возле, он что-то рассказывал Черткову, и оба задумчиво-весело глядели на меня. Я понял, что говорят обо мне. Потом, оставшись один, опять спросил меня, как и утром.

— Как же вас били? Это ужасно! Но я завидую вам. И не было у Вас никакого чувства негодования на них. Или, может быть, сколько-нибудь да было.

— Нет, не было, Лев Николаевич, — отвечал я ему и встретился с ним взглядом.

Он вспыхнул весь. И опять рассказал я ему по его просьбе о себе. Вечером отпустил меня на поезд.

- Ну, дай Бог, дай Бог вам силы. То, что вы теперь избираете, - это самое лучшее, что только можете сделать. Я вот так живу... Мне уже 80 лет, но от всей своей жизни только и вынес знание, что любовь это Бог — Бог есть любовь, и это единственное, что всем нам нужно. Кто имеет любовь, тот пребывает в Боге и Бог в нем.

Еще повторил любимые слова Апостола Иоанна:

«Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит — тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога, потому что Бог есть любовь». Вот знайте: с этой верой я живу и с этой верой стою на краю гроба и не боюсь смерти и надеюсь так умереть. Ну, дай вам Бог, дай вам Бог», — и поцеловал меня, отпустил. И нужны были эти слова мне потому, что возвращали к самому простому и несомненному в вере, что близко ко всему — и становились мне теперь путеводной нитью, к которой часто приходилось возвращаться в тех бурях и сомнениях, которые еще ждали впереди. Думаю, и для многих в этом простом его учении есть великое значение его проповеди к жизни. Мир же и мир ему навеки.

От него я хотел ехать прямо в одну из приволжских губерний, куда у меня был взят билет. Но ночью проснулся на ст. Рязск, отсюда всего 50 верст к родной мне усадьбе моего деда, в которой проводили мы детство и в которой я недавно еще бывал каждое лето. Что мне делать в далекой общине братьев, уже устоявшейся в духовной жизни, не принесу ли я им. только тяжести своими пороками и привычками, ничем не испытав еще своих сил и решимости. Этот вопрос уже и раньше приходил мне в голову, но теперь, после встречи с братом Львом Николаевичем и призыва, который почувствовал в ней, к простейшему и несомненнейшему стало страшно мне удалиться от этого в неизвестное и едва ли уже доступное мне. Не проще ли будет здесь, где грешил, где жил барчуком и барином, умевшим только кататься на сытых тройках и верхом, где пережил уже разочарование из-за стыда перед народом в музыке, не проще ли тут и начать мне свое покаяние и исправление себя с исполнения малейших заповедей, пока только хоть телесного труда, ради смирения себя и опрощения... Я бросил свой билет под поезд и пошел из Рязска пешком в деревню. Идти было верст 50. Дни стояли очень жаркие. С непривычки кружилась голова, ныли ноги. Часто присаживался. И вот вдруг ужас, опять новый ужас подступил ко мне: а что, если и это игра? А что, если и теперь только играю, чтобы полюбоваться собой и показать себя людям, и если никуда никогда не убежать мне от себя. Представилось, как другие мои прежние друзья встретят мой шаг и будут говорить обо мне. В отчаянии не знал, куда деться от этой мысли, вся земля, казалось, проваливается и летит в беспощадную бездну. Приходит мысль, страшнее которой и теперь еще ничего не знаю на свете: мысль — лучше умереть, но не телесной смертью, а не быть, исчезнуть вовсе бесчувственным, несуществующим, лучше это, чем новая игра. Но нет, и в бездне есть Свет, и Свет и во тьме светит и тьма не обнимет Его. Как последняя соломинка надежды, загорается и брезжит в сознании другая мысль, думаю: если я боюсь уже игры, то ведь это значит — ее уже нет во мне, надо только верить в себя, верить в добро в себе, верить в свою решимость к добру. Бог, Бог любви, Которого знала сестра Маша и о котором говорит брат Лев, Сам не оставит меня. Господи, помоги мне. Ведь неужели же я уже так отвержен Им, что Он не пожелает меня спасти, когда я хочу этого и прошу Его... И молюсь, и встаю, и иду.

Только на другой день поздно вечером я, усталый от непривычной ходьбы, и еще более измученный борьбой в пути, пришел в деревню, в которой решил остановиться у одного крестьянина-сектанта, давно мне известного. Ему и другим собравшимся крестьянам объяснил, что пришел у них учиться жить и учиться трудиться как они на земле, просил не считать меня более за барина, а забыв и простиив мое прошлое, принять меня в свою среду... Брат, которого я выбрал, охотно принял меня в свой дом...

Конец первой части